

[Polaris]

ИЗАБЕЛЛА  
ЭБЕРХАРД



ТЕНЬ  
ИСЛАМА

**POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

**ССС**



**Salamandra P.V.V.**

**Изабелла  
ЭБЕРХАРД**

# **ТЕНЬ ИСЛАМА**

**Salamandra P.V.V.**

## Эберхард И.

Тень ислама. Пер. с франц. А. Вандама, В. Лебедева. Заставки и концовки раб. автора. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 230 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCC).

В юбилейном 300-м выпуске серии «Polaris» — первое современное русское издание рассказов и этюдов Изабеллы Эберхард, хроники духовного странствия и скитаний в песках Северной Африки, одиночества и бесконечного стремления к свободе. Эберхард, родившаяся в Швейцарии в семье русских эмигрантов, исповедовала ислам, жила в Тунисе и Алжире, путешествовала по Сахаре, вступила в суфийское братство, пережила покушение и изгнание — и писала романтическую и жесткую прозу, предвосхитившую А. Камю и П. Боулза. Молодая писательница нарушала все мыслимые запреты: она носила мужскую одежду, постоянными ее спутниками были «киф», алкоголь и случайные любовники, мужем — алжирский солдат-спаги. Ее смерть была не менее странной, чем жизнь: в 1904 году, в возрасте 27 лет, Изабелла Эберхард погибла во время наводнения в пустыне... Сегодня ее имя прославлено в десятках книг и множестве статей и исследований, кинофильмах и даже опере.





offene See, 10 1/4.

# **ТЕНЬ ИСЛАМА**



# ТѢНЬ ИСЛАМА

---

ИЗАБЕЛЛЫ ЭБЕРГАРДТЪ

---

ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ  
СЪ ПОРТРЕТОМЪ АВТОРА

---

Переводъ съ французскаго  
А. Е. В.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ  
1911





ИЗАБЕЛЛА ЭБЕРГАРДТЪ

## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В лучшем и наиболее распространенном из американских журналов, «The North American Review», за апрель месяц нынешнего 1911 г. напечатана была статья известного английского писателя и критика Нормана Дугласа, под заглавием «Intellectual Nomadism» («Духовное кочевничество»).

Написанная из тех мест, которые вдохновляли собою Изабеллу Эбергардт, проникнутая глубокою симпатией к покойной писательнице и заключающая в себе весьма интересное мнение автора о русских, статья эта, как мне кажется, будет наиболее подходящим предисловием к русскому переводу посмертных записок Изабеллы Эбергардт, а поэтому она приводится здесь целиком:

«Время от времени горные ручьи, прорезывающие собою плоскогорье внутреннего Алжира, вздуваются до размеров рек и, скатываясь вниз кипящими потоками, производят большие опустошения. Такое именно несчастье постигло в октябре 1904 г. французский поселок Аин-Сэфру.

В ту пору здесь жила Изабелла Эбергардт, молодая дама-писательница, русская по происхождению и магометанка по религии. Среди развалин ее домика найдены были некоторые из ее рукописей, образующие в настоящее время посмертный том ее сочинений, озаглавленный «Dans l'ombre chaude de l'Islam». Они открыты были при раскопках, принятых с большою тщательностью лейтенантом Paris, и оказались сильно попорченными от долгого пребывания в мокрой земле. Для того, чтобы восстановить между ними связь, один из друзей покойной, издатель алжирской газеты «Ах-бар», Виктор Барюкан, должен был обратиться к переписке, бумагам и путевым заметкам Изабеллы, находившимся у него на хранении. Это был труд, стоивший выполнения.

Один из французских критиков назвал Изабеллу “самым мужественным и искренним писателем Алжира”, и действительно, если бы читатель пожелал еще более живых и бле-

стоящих картин североафриканской жизни, чем те, которые заключаются в этом и другом томе ее сочинений, озаглавленном “Notes de Route”, то было бы весьма трудно сказать, где бы он мог найти их.

В свои юные годы, находясь на попечении двоюродного деда в Женеве, Изабелла воспитана была “совершенно как мальчик”. И вот, очутившись в Африке, она одна, под видом юного араба, верхом на коне совершает переезд по внутренним частям Алжира и Туниса от границ Марокко до Триполи. Два тома сочинений, состоящих из описания видов, рассказов из жизни туземцев и ее собственных размышлений, развертывают пред вами обширную и разнообразную панораму. То вы следуете по узким улицам разваливающихся городов и в полумраке спотыкаетесь на кучи всевозможного хлама, то вступаете в монастырское убежище, где одетые во все белое марабу бесшумно скользят, точно привидения, то под палящим солнцем следуете по пустыне, то отдыхаете в тени мастикового дерева или слушаете завывание ветра в дюнах. На всем этом пути вы встречаете кочевников, солдат, рабочих, женщин, рассказывающих вам на ходу свое горе, свои радости, свои надежды.

Пробегая глазами страницы книги, вы точно рассматриваете яркий восточный ковер, полный самых смелых красок, которые каким-то чудесным образом гармонируют между собою, скорее внушая, чем наглядно показывая вам образуемый ими простой рисунок.

Но что же это, однако — где же скрывается секрет этой основной простоты, проникающей собою все целое?

Этот секрет лежит в характере самой Изабеллы Эбергардт, обладающей самым необходимым для писателя качеством — неуклоняемостью от своего пути, верностью своей природе.

Будучи же по своей природе совершенно русскою, она могла питать глубокую симпатию к кочевым арабам.

Не подозревая того сами, русские имеют в себе еще много кочевнического. Где во всем мире найдете вы другую страну, столь обширную по своему пространству и столь однородную по языку, как Россия?

Несмотря на практикуемую внутри империи паспортную систему, имеющую целью прикрепить обитателей к земле, — кочевническое стремление народа одерживает верх и над суровыми зимами, и над плохими дорогами, и над топкими болотами, и над могущественными реками. Бедные люди часто оставляют свои дома и семьи для того, чтобы отправиться на поклонение святыням отдаленного храма, совершенно так же, как это делают и арабы. Причем, тронувшись с места, русский паломник часто не в силах остановиться сам. Переходя из одного города в другой, он просто теряется в океане своего отечества, забывая и дом, и родных. Для русского, одинаково как для богатого, так и для бедного, путешествие заключает цель в самом себе. Он ненавидит занятие, прикрепляющее его к какому-нибудь определенному месту. Земельные собственники не чувствуют почти никакой привязанности к своим владениям. Для них ровно ничего не значит отправиться из Екатеринослава или Пензы в Петербург под предлогом купить шляпу или пару перчаток. Железнодорожные станции представляют собою цыганский табор, а второклассные гостиницы, набитые путешественниками с подушками, полотенцами, самоварами, керосиновыми машинками, чайниками и прочими принадлежностями полукочевого хозяйства, напоминают собою караван-сарай. Русские жилища выглядят так, как будто они предназначены не для постоянного пребывания в них: никакая вещь не имеет своего определенного места; часы не ходят; двери не закрываются — инстинктивное воспоминание о жизни в палатке; бросается в глаза недостаток обстановки, в особенности такой, которую англосакс требует для помещения одежды и которая указывает на прочное оседание на месте. Русские никогда не осаживаются. Все они имеют нечто общее с страдавшим плохим пищеварением старым князем одного из тургеневских рассказов. Комнаты у них постоянно меняют свое назначение, кровати передвигаются с одного места на другое, и все это из непоседливости и любви к переменам. Целыми неделями могут они жить в хаотическом беспорядке, требующем для своего устранения не более получасовой работы. Старая, безотчетная тревога

точно подсказывает им, что “все равно”, завтра нужно будет сниматься и переходить на новую кочевку. Швейцарец думает о том доме и той деревне, в которой он родился, для русского же «домом» является не географический пункт; а общественная среда. Он везде дома там, где вокруг него люди своего племени. В таком виде вы наблюдаете его и на европейских курортах. Никогда, подобно англичанину, не бывает он один, а, как Араб, всегда в толпе своих.

Эти примеры еще не исчезнувшего в России кочевничества, которые могут быть умножены до бесконечности, приводятся здесь не для того, чтобы объяснить любящим эту страну непонятные на первый взгляд черты русского характера, и не для того, чтобы научить враждебных критиков, указав им, что ненавистная для них автократическая система представляет собою тот же простой семейный принцип, которым держится и каждое хозяйство в стране. Они упоминаются нами только потому, что следы их ясно видны так же и в литературе, как и в повседневной жизни.

Это не значит, например, что Изабелла Эбергардт целые дни бродила по пустыне, не слезая с коня. Но это объясняет нам состояние ее духа, ту глубокую и неподдельную грусть, которая разлита на каждой странице ее трудов. Она была полна “gout de l'espace” — “volupté profonde de la vie errante”<sup>1</sup>.

Для кочевнической семьи каждая радость жизни обеспечена плохо, ибо завтра же нужно снимать палатку, а следовательно и те удовольствия, которые можно получить сегодня, могут оказаться отложенными до бесконечности. Вот почему русский, так же, как мадьяр или араб, не хочет возлагать на себя никаких ограничений в отношении “вина, женщин и песен”. Он хватается за все, что ему нравится, почти с театральной экзальтированностью, и это опять-таки отражается на его литературе. Можно сказать, конечно, как это уже и говорилось не раз, что подобный характер есть результат сурового климата; что в нем заключается протест

---

<sup>1</sup> «Вкусом пространства» — «величайшим наслаждением скитальческой жизни» (фр.). (Здесь и далее прим.. ред.).

против безжалостных условий физической среды; что человечество из противодействия мрачному гнету природы стремится к духовным излишествам. Может быть, в этом аргументе и есть доля правды. Несомненно, что историческое творчество скандинавов носит на себе отпечаток тех страшных скачков от зимы к лету и от бесконечного дня к бесконечной ночи, какие неизвестны “под голубым небом Ионии». Но влияние среды сделалось фетишем, своего рода *deus ex machina*<sup>1</sup>, устраняющим все непонятное. Между тем, чем же объясните вы, что рядом с непоседливыми русскими живут крепко приросшие к земле латыши и финны, точно так же, как бок о бок с мечтательными и парящими в поднебесьи арабами ходят по земле спокойные и трудолюбивые берберы?

Нет, здесь дело не в почве, а в расе, и в этом заключается разгадка номадизма Изабеллы.

Теперь, что касается ее интеллектуальности, то откройте любую станицу ее книги и вы сразу убедитесь, что в ее точке зрения на каждую вещь чувствуется утонченный ум, а в изложении мысли большой талант. Многие из ее набросков оригинальны в хорошем смысле этого слова. Они новы, правдивы и удовлетворяют самому придирчивому вкусу.

“Я всегда была проста, — говорит Изабелла, — и в этой простоте я нашла большое утешение”. Нет ничего справедливее этих слов, если под простотою она понимает ясность и однородность. В противоположность известному русскому камню александриту, она все время сохраняет свой собственный блеск, при каком бы освещении вы ее ни рассматривали. В ней могут быть трещины, но эти трещины не чужого происхождения — горячо приветствуемое качество в наш век, производящий такое множество людей и книг, представляющих собою лишь простое отражение.

Ее мысль сформирована была тем единственно правильным путем, при котором только и может выработаться она во что-нибудь серьезное, т. е. большою начитанностью не

---

<sup>1</sup> Богом из машины (*лат.*).

для запоминания, а, по выражению одного английского мудреца — «*to weigh and consider*» (взвесить и принять в соображение), и соприкосновением с хитрым и изворотливым миром живых людей и дикими местами природы. Глубоким и сильным вздохом втянула она в себя жизнь. Она выковала свою душу на медленном огне страданий, тоски и размышлений в одиночестве.

“Эти строки пишет обездоленнейшая из обездоленных в этом мире, изгнанница без очага и родины, сирота, лишенная всего, — и они искренни и правдивы”.

Или в другом месте:

“Я пришла к тому заключению, что никогда не следует искать счастья: оно идет по дороге, но всегда в обратную сторону...”

Когда мое сердце страдало, оно начинало жить”.

Эта ощущь и душевная борьба сообщают языку Изабеллы Эбергардт особый привкус горечи и мягкого человеколюбия, представляющие собою противоположность с изготавленной машинным способом мишурою и противным фокусничеством, которыми щеголяют литераторы ее пола.

Нужно очень высоко ценить ее труд в те дни, когда, запершись в своей маленькой комнатке, она боролась с своими мыслями и словами, ибо только упорною борьбою научилась она обходить ту западню, куда так легко попадают писатели, в особенности ее расы — т. е. расплывчатость, неумение схватить мысль целиком. Русские скажут вам, что вид заборов, столь знакомый любителям наших пейзажей, слишком скучен и не сообразуется с их понятиями о свободе. Они должны иметь перед собою безграничный горизонт, потому что их дух бродит так же, как и их тело. Их сознательное многословие и постоянные “уклонения от сути” составляют прелесть их разговорной речи и их литературный недостаток. Поминутно забираясь далеко в стороны, они хотят включить в свою работу все, что видят вокруг себя.



Так, один мой знакомый офицер, в течение шестнадцати лет работавший над историей русского управления Среднею Азией, сообщил мне, что наконец он достиг периода Кира. Надо думать, что при таких условиях Россия потеряла много писателей, погибших от надрыва или малодушно отступивших пред воображаемыми размерами их задачи. Слишком большой замысел парализует инициативу; все обнимающий ум является в то же время и тюрьмою для самого себя.

Этого стремления объять необъятное вовсе не чувствуется у Изабеллы. Она никогда не видит много вещей зараз и знает границы своей темы. Такая тренировка научила ее думать быстро и верно и отбрасывать все тривиальное. Выжимая из своих рассказов всю воду, она вечно неудовлетворена своими писаниями и верит больше в тщательность обработки, чем во вдохновение. Между тем — это писатель по природе, чувствующий неодолимое тяготение к литературной карьере.

“Я пишу потому, что меня увлекает процесс литературного творчества. Я пишу так же, как и люблю, ибо такова, вероятно, моя судьба. В этом мое единственное и истинное утешение”.

Но тот, кто захотел бы найти на страницах ее книги фотографическое воспроизведение жизни пустыни, будет разочарован висящим над ними миражом. Как все артисты, она улавливает цвета и формы, недоступные обыкновенному глазу. Ее картины “священной земли Африки” являются искажениями почти в духе турнеровских ландшафтов; т. е. искажениями до тех пор, пока мы не подыдемся на ее точку зрения и не научимся понимать лучше. Бесконечное молчание пустыни и вид развалин, по которым бродит глаз, безнадежно ища точку опоры, заставляют ее уходить в глубь самой себя и вызывают у нее, так же, как и у арабов, мечтательное настроение.

Кроме ее всесторонности, с одинаковою легкостью переносающей нас от одной фазы африканской жизни к дру-

гой, каждого внимательного читателя должно поразить ее чувство меры в отношении длины ее набросков. То, что на сцене жизни есть множество превосходных виньеток, которые лучше всего выглядят в микроскопической оправе сонета или даже эпиграммы; то, что преходящие душевные волнения лучше всего выражаются стихотворениями в прозе, наконец, то, что орографические, гидрографические и прочие описания континента требуют гигантского полотна Элизэ Реклю — понятно каждому. Однако, как часто нарушают это очевидное правило писатели даже с крупными именами! Изабелла счастливо избегает ошибок в этом направлении. Некоторые из ее рассказов, как например, “Женский мирок”, представляют собою настоящие миниатюры. Другие, как мрачный “Феллах”, где на всем протяжении вы слышите однообразный звук “нищеты, падающей капля по капле”, являются своего рода литературными барельефами. Но, длинные или короткие — все они читаются удивительно легко благодаря чудной технике, представляющей собою наглядную иллюстрацию к словам Шеридана, сказанным одной даме: “Easy reading, Madam, is damned hard writing” (легко читающееся, сударыня, создается каторжным трудом).

Мы далеки от того, чтобы сказать, что труды Изабеллы Эбергардт составляют “последнее слово” подобной литературы, ибо все то, что удовлетворяет нашему вкусу сегодня, — завтра оказывается уже менее интересным. По крайней мере, так было с любовью к пустыне. Еще недавно считавшаяся чем-то вроде земного ада, Сахара, подобно Альпам, открыта была романистами. Затем явился Фромантэн, и образованное человечество ахнуло от его откровений — пустыня создала моду в искусстве! Но почти вслед за ним идет Лоти. Нелюбознательный, бесстрастный, став в позу спокойного зрителя, он своим замораживающим неоклассицизмом сразу же остановил нас на том пути, по которому вел нас пылкий Фромантэн.

Сейчас на смену Лоти выступила Изабелла Эбергардт, для которой пустыня представляет собою не род искусства, а образ жизни.

Она погрузилась в глубь этих песчаных пространств не по эстетическим побуждениям, а по тождественности темперамента. Единство расы, религии и языка есть могущественная связь. Особенность же русских, как народа, та же, что и арабов: она заключается в чувстве братства, в своего рода апостольском духе, корнящемся в патриархальном строе и крепко связывающем между собою все классы империи. Манера, с которой бедный человек пустыни обращается к великому шейху своего племени, напоминает собою любовное отношение простого мужика к своему Великому Батюшке, в хозяйстве Которого, что бы там ни говорили, он является родным членом. Изабелла, и как араб и как русская, полна глубокими братскими чувствами: «Все мы бедные черти, — говорит она, — а тот, кто отказывается понять нас, — беднее нас самих». С удивительною легкостью открывает она лучшие качества, прячущиеся в груди даже, по видимому, потерявших уже свой человеческий образ существ. Вероятно, она нашла бы возможным сказать доброе слово даже дикарям Альбиона, опошляющим жизнь пустыни устройством дорог, несясь по которым в вышитых жемчугами платьях, надменные «мисс» и «миссис» будут описывать красоты пустыни для читателей разных «Review».

В ее сочинениях нельзя не подметить некоторого сходства с Лоти. Подобно ему, она сумела, например, перевести на язык красок сухие и жесткие научно-коммерческие слова, и как эта чисто литературная речь, смело выступившая на арену совершенно чуждой ей мысли, приковывает к себе наши глаза! Она так же дополняет собою картину, как васьильки ржаное поле.

Ее труд принадлежит к разряду тех, которые могут быть выполнены хорошо только однажды. Чтение ее подражателей и учеников, появляющихся сейчас на книжных рынках Франции, ясно показывает разницу между действительностью и ее тенями. Да и трудно вообразить себе другого писателя, который бы выступил на сцену в столь необычайном вооружении и снаряжении. Быть в одно и то же время полным удали и смелости мужчиною и глубоко чувствующею женщиною, даровитым ученым и дикарем пустыни,

мечтательным курильщиком кифа и журналистом *fin de siècle*<sup>1</sup>, магометанином, христианином и агностиком — это может не всякий!...

“Я всегда была проста...”

Так, кажется нам, думала о себе и Мария Башкирцева, которая, несмотря на разницу в судьбе, весьма походила на Изабеллу в ее стремлении вырваться из мира грязных пошлостей и оставить по себе след в жизни. И как высоко должны мы ценить этих детей Севера, самих, без всякой посторонней помощи, нашедших верное средство выйти из колебательного состояния, опутывающего ум и подтачивающего характер.

Правда, они имели большое преимущество принадлежать к той расе, которая не прошла школьного учения остальной Европы и не затемнила свой рассудок метафизикою, классическими идеалами и «*Sturm und Drang*»<sup>2</sup>; которая способна поэтому прививать к своему здоровому дичку плоды самых новейших изысканий. Все это имеет, конечно, и свою слабую сторону. Мало знакомые с эллинскими традициями и презирующие их, русские светские искусства страдают недостатком элементов спокойствия и сосредоточенности мышления. Нетронутое Возрождением церковное искусство прозябает в старых условных бороздах и не обнаруживает настойчивого и деятельного стремления к высшему идеалу, достигшему на Западе своего кульминационного пункта в соборе св. Петра или в Мадонне Рафаэля. Но в изящной литературе и философии все преимущества на стороне русских, ибо им не вдалбливали в течение многих столетий, на что именно нужно смотреть на земле и как нужно смотреть. Как литературный народ, они воспламенены огнем юности. Они научились нравственным правилам, прислушиваясь к голосу сердца и совести, а не к тому, что внушали нам средневековые искусники в словопрениях. Они инстинктом поняли тот факт, что наше чувство правды и неправды, будь оно старо, как холмы, ежедневно при-

---

<sup>1</sup> Конца века (*фр.*).

<sup>2</sup> «Бурей и натиском» (*нем.*)

нимает новые формы; что наша добродетель есть простое приспособление к постоянно меняющейся обстановке, накладывающей на все наши деяния клеймо своей мимолетности.

Полное отсутствие желания тянуть кого бы то ни было в свой приход сообщает трудам обеих писательниц возвышающую, аристократическую ноту, ибо нравоучительность — свойство толпы. Она носит губительный для всех родов искусства заголовок: *connu*!<sup>1</sup>

А между тем, Изабелла, подобно многим, от природы благородным артистам, проникнута демократическими чувствами:

“Меня часто упрекают в моей любви к народу, но где же и жизнь, как не среди него? Во всех других местах свет мне кажется тесным...”

Выражаясь коротко, можно сказать, что философия Изабеллы и Марии Башкирцевой состоит в решимости держать все поры открытыми. Причем необходимо заметить, что обе они в духовном отношении, равно как и в географическом, стоят на середине пути между Западом и Востоком. По своей способности испытывать удовольствие от всякой новизны и по напряженности труда они принадлежат Западу, но они в достаточной степени буддистки для того, чтобы презирать бредовый шум и стадный дух нашей цивилизации и ненавидеть все формы западного лицемерия.

В своем возмущении против всех видов уродливой чувствительности эти русские девушки взяли новую и верную ноту. У Изабеллы есть очаровательный рассказ, где она описывает время ужина в еврейском квартале, полном вонючести и “нетрудного счастья”:

“Я хорошо знаю их душу. Она подымается в парах котла... Я завидую им. Они представляют собою критику моего романтизма и неисцелимого недуга, принесен-

---

<sup>1</sup> Известное, знакомое (*фр.*).

ного мною с Севера и мистического Востока вместе с кровью тех, которые бродили до меня по степи.

Когда же покончу я с этой своеобразной манией, заставляющей меня понимать каждый простой жест в религиозном смысле?... Когда другие готовят себе обед, мы думаем о жертвоприношениях Сомы и о возлияниях масла на огонь...

Прочь от меня, вся неуверенность моей болезненной юности!.. Все мое моральное воспитание требует переделки»...

Как глупо было бы перед лицом этой жестокой самокритики назвать Изабеллу Эбергардт неврастеничкой!.. Точно способность смотреть на себя с такою объективностью не есть признак необычайного здоровья. Гораздо правильнее будет, если мы скажем, что из романтического движения она взяла золото, очистив его от примесей — слюнявого ханжества и вечно всхлипывающей сентиментальности. В ее взглядах на взаимные отношения полов есть восточный цинизм, но ее здоровая варварская этика не тронута гниlostными началами похотливого зуда. Вся ее религия состоит в порывистом стремлении к «честному богу» — тому сияющему кротостью «доброму старцу», которого рисовал в своем воображении Лукреций.

Мария Башкирцева была противницею слезливой чувствительности того же типа. Она смотрела на мужчин с игривостью вполне здоровой и трезво мыслящей женщины. Добродушная Матильда Блайнд не раз сожалела о том, что Мария не дожила до встречи со своим «идеалом». Но русские девушки редко, по-видимому, стоят у окна, выжидая, не пройдет ли их идеал, и чаще предпочитают взять что-нибудь менее воздушное, но более удобное в носке. Однако, как же это так? Может ли стать, что, будучи в некотором смысле «новыми женщинами», они принадлежали бы не к известной под этим именем странной смеси наивности и свирепости, а к тому классу женщин, с которыми мужчина может находиться в наилучших супружеских и товарищеских отношениях?

Своим личным примером Изабелла дает на это совершенно определенный ответ. В 1900 г., на двадцать третьем году своей жизни, она сочеталась браком по магометанскому обряду с туземным офицером, французским подданным, которого очень любила. (Как большинство женщин, она всегда питала пристрастие к военным.)

В следующем году с ней произошел весьма печальный случай. Находясь недалеко от Элуэда, она подверглась нападению одного фанатика, принадлежавшего к братству, враждебному тому, к которому принадлежала она сама. Полученные ею при этом раны были настолько серьезны, что ей пришлось целый месяц пролежать в военном госпитале. Сейчас же вслед за этим последовало административное распоряжение о высылке ее, как иностранки, русской подданной, с территории Алжира «по политическим причинам». Она обвинена была в антифранцузской пропаганде, причем воображение обвинителей зашло так далеко, что в ней подозревали переодетую английскую миссионерку ордена методистов.

Изабелла Эбергардт — методистка! Вот уж действительно странное сопоставление идей. Но французы сами странный народ. Их патологическая подозрительность к иностранцам напоминает собою боязливую недоверчивость афинян. Никакими усилиями воображения и воли не могут они поставить себя в духовные условия людей другой национальности, и их *idée fixe*, при всей их врожденной любезности, делает их иногда весьма неприятными.

Изгнанная из Алжира, разлученная с мужем, не имея никаких средств и страдающая еще от ран, Изабелла очутилась в Марселе в весьма тяжелом положении. Ее лишения были так велики, что она вынуждена была работать в порту бок о бок с итальянскими носильщиками при нагрузке и разгрузке судов. Но в скором времени ее мужу удалось перевестись из туземной конницы во французский гусарский полк, стоявший в Марселе. Здесь их брак был утвержден французскими законами, и Изабелла получила право вернуться в Алжир.



Последним местопребыванием ее с мужем был маленький поселок Аин-Сэфра, где и захватило ее наводнение 21 октября 1904 г., разрушившее ее дом и стоившее ей жизни.

«Я умею плавать, не бойся, я поддерживаю тебя!» — крикнула она своему мужу и бросилась отрывать доски, чтобы связать плот. В этот момент не выдержавшая напора воды глиняная стена рухнула на нее. Муж спасся каким-то чудом. Ее тело найдено было два дня спустя и похоронено на туземном кладбище с наветренной стороны песчаного холма, недалеко от разваливающейся часовни одного марабу. Там лежит она, обращенная головою к Востоку.

Ее жизнь была коротка, но она успела выжать из этой виноградины все соки до последней капли.

С того места, на котором пишу я эти строки в Нефте, на границе Сахары, мне виден путь, ведущий через пылающие зноем солончаки из Шота в Элүэд, где когда-то жила Изабелла.

С грустью смотрю я в ту сторону, и невольно в моем воображении рисуется высокий и стройный юноша-араб с типичным лицом русской девушки и детскою улыбкою, бешено мчащийся на своем славном белом жеребце из породы тех, что составляют гордость Суфа<sup>1</sup>.

“Я не сочиняла себе идеала, а отправилась на разведку...”

Вот основная нота всей жизни Изабеллы Эбергардт.

Эти слова снова заставляют нас вспомнить другого духовного кочевника — Марию Башкирцеву, которая так же полагала, что для ее “моральной гигиены” необходим “внутренний озноб”, и которая так же вечно стремилась к открытию новых горизонтов. Подобное состояние гораздо правиль-

---

<sup>1</sup> Во время пребывания в Элүэде у И. Эбергардт был великолепный белый жеребец суфской породы, названный ею «Суфом», на котором она совершала свои, иногда до безумия смелые поездки по пустыне (Примеч. переводч.).

нее назвать неутомимою жаждою души, чем непоседливостью.

Оставленные обеими русскими женщинами труды не относятся ни к разряду тех, к которым можно было бы обращаться за справками, ни к категории чисто художественных произведений. Они представляют собою своего рода исповедь, зеркало души или, по счастливому выражению Маллока — человеческий документ, раскрывающий перед нами окрашенный во все цвета радуги мир по мере того, как он профильтровывается через простой и искренний ум и кристально чистую душу писателя».

**Часть I**

**ПОСМЕРТНЫЕ ЗАПИСКИ ИЗАБЕЛЛЫ  
ЭБЕРГАРДТ**

Май, 1904

Я покинула Аин-Сэфру в прошлом году при первом дыхании зимы. Караваны пушистых облаков начинали уже странствовать по прозрачному небу. Сердитые ветры срывались с плоскогорий, подымали столбы серой пыли и с шумом опрокидывали их на оголившиеся деревья. Малолюдная и точно съезжившаяся от холода, она казалась мне тогда утрюмою и некрасивою. Но сейчас, в задумчивом сиянии летнего дня, я вижу ее совсем иною.

Я с удовольствием смотрю на пышный наряд ее садов, на погруженный в дремотное молчание ксар<sup>1</sup> и на окружающие его куббы<sup>2</sup> святых марабу. Сотни лет стоят они неподвижно на своих постах, как верные часовые, охраняя небольшое селение, приютившееся в песчаной долине, на побережье высохшего моря Сахары. Вот куббы покровителя Аин-Сэфры, Сиди-Бу-Тиля. Там покоится эмир святого воинства ислама, Сиди-Джилани. Еще далее вкушает вечный мир покровитель верблюдов и кочевников Сиди-Сахин...

Особенными глазами смотрю я на Аин-Сэфру еще и по другим причинам. Я приехала сюда, крайне утомленная и измученная последними месяцами моего существования в Алжире, и я не вернусь в этот город. Мой дальнейший путь лежит в противоположную сторону, — туда, на великий Юг, в глубь еще мало кому известной пустыни.

Я поселилась здесь в маленькой временной квартирке и живу в одиночестве. Большую часть дня я провожу в садах, целыми часами лежа на спине и наслаждаясь этою не-

---

<sup>1</sup> Букв. «замок», в Магрибе — тип укрепленной берберской деревни (*Прим. ред.*).

<sup>2</sup> Кубба (араб. «купол») — мусульманская гробница почитаемого религиозного деятеля, обычно кубический или восьмигранный павильон с куполом и арками (*Прим. ред.*).

подвижностью. Теплый воздух напоен смолистым запахом тополей и опьяняющим ароматом акаций. В темной листве смоковниц жужжат мириады золотистых мух. Ветви финиковых пальм плавают по темно-синему фону неба взад и вперед, точно снасти тихо покачивающегося на волнах корабля.

Безмолвие и покой, царствующие в этих садах, действуют на меня умиротворяющим образом. Я чувствую, что все то, что волновало меня, причиняло мне тяжелые страдания, наполняло мой мозг черными думами, — словом, все то, что составляло мое горе, мой «кафар», с каждым днем уходит от меня. Моя душа становится более здоровою и наивно открытою радостям жизни... Я начинаю чувствовать над собою солнце, и меня манит путь...

## БАЗАР

Уже в воскресенье вечером на всех холмах, по всем тропинкам, ведущим в Аин-Сэфру, начинают показываться люди, кто на лошади, кто на муле, кто пешком, погоняя впереди себя маленького, быстро семенящего ослика или тяжелого верблюда, поминутно вытягивающего шею и своею отвислою губою старающегося захватить кустик зеленой альфы. Это кочевники племен амур и бени-гил идут сюда на большой понедельничный базар.

В жизни араба, а особенно араба-кочевника, базар играет важную роль. Здесь люди сходятся вместе, узнают новости, обсуждают дела. Здесь же они находят возможность заработать и нужную им копейку.

С самого рассвета на большом плацу между селением и кавалерийскими казармами собирается шумная толпа, которая будет расти до двенадцати часов дня.

Верблюды с глухим ревом становятся на колени. Привязанные к жидким акациям жеребцы бьют копытами землю, подымаются на дыбы и ржут, завидя кобылиц. Люди волнуются и кричат. Шум усиливается блеянием привязанных друг к дружке за шею овец и мычанием маленьких, как телята, черных бычков и коров.

На земле в живописном беспорядке свалены товары Юга: сильно пахнущие жирным потом овчины, большие ноздреватые куски неочищенной соли, наполненные кислым молоком козьи бурдюки, масло, смола туи, плетеные из альфы корзинки, ярких цветов одеяла, новые, еще не обмятые бурнусы, лошадиные подковы, глиняные кувшины, волосяные веревки, седла и т. п.

Среди всего этого хаоса выставленных для продажи предметов расхаживают амуры и бени-гилы с целым арсеналом оружия и патронов за поясом. Одеты они в лохмотья, но какая гордая осанка, какие головы под широкими тюрбанами, какие профили хищных птиц с крючковатыми носами и блестящими глазами!

Целою толпою вваливаются они в лавку и начинают бесконечный торг, крик и шум.

На базаре из-за малейшего пустяка вспыхивает ссора, и кочевники сейчас же хватаются за свои кумии (кривые кинжалы). Но на французской территории они опасаются давать волю рукам и ограничиваются угрозами и эпической бранью:

«Погоди, сын неверного, дитя греха! Здесь мы размякли, стали похожими на женщин, потому что едим белый хлеб и пьем текучую воду. Погоди, когда мы перекочем за Фортану и напьемся воды из редира<sup>1</sup> — ты узнаешь тогда, мужчины ли мы!..»

К вечеру базар опустел. Шум утих. Я иду по единственной арабской улице. На скамейках и циновках перед домами много знакомых лиц.

Обмениваясь с ними дружескими приветствиями, я в то же время с удовольствием думаю о том, что завтра на заре я уеду отсюда и покину всех и все, что мне так нравится сегодня.

Но кто, кроме кочевника и путешественника, поймет эту двойную радость?

С сердцем, еще полным более сильных ощущений, я говорю себе, что любовь — это тревога, и что нужно любить покидать, ибо и люди и вещи обладают лишь преходящею красотою...

У железной решетки окна одной из мавританских кофеен собирается толпа. Изнутри слышатся звуки свирели, и я направляюсь в кофейню. Эта музыка будет убаюкивать мои грезы, а, главное, избавит меня от необходимости разговаривать.

---

<sup>1</sup> Редир — естественный резервуар, в котором скопляется дождевая вода.



## МАВРИТАНСКАЯ КОФЕЙНЯ

Квадратный зал, выкрашенный светло-голубою краскою с розовыми каемками. Направо в углу закоптелый «удяк», т. е. железный очаг для приготовления чая и кофе. На деревянных полках чашки, стаканы и подносы. Деревянные скамьи и длинные, окованные жестью столы загромаздают большую часть зала. Вот и вся обстановка маленькой кофейни, посещаемой марокканцами и кочевниками.

Публика сидит здесь вплотную. Среди арабов в бурнусах и хаиках землистого цвета виднеется несколько спаисов и «мохацни», т. е. туземных кавалеристов.

Облокотясь кто на стол, а кто на собственные колени, все внимательно смотрят вглубь зала, на сидящих там музыкантов.

Эти последние — кочевники бени-гилы из Шот-Тигри.

Одетые в красные лохмотья и сандалии, они очень мало походят на певцов и музыкантов алжирского плоскогорья, старающихся подражать в своих костюмах ученым и носящих вышитые арабские жилеты и шелковые шнуры на тюрбане.

Вся показная роскошь этих несчастных артистов состоит в полированных медных кольцах и шелковых тесемках, украшающих их инструменты.

Один из них, бородатый и широкоплечий детина в большом белом тюрбане, немилосердно, не обращая внимания на товарищей, колотит в марокканский тамбурин. Другой, слепой, играет на свирели. Подавшись всем телом вперед, раскачиваясь и вращая мутными белками своих потухших глаз, он точно плачет или жалуется кому-то на свою судьбу, и его камыш выводит нежные и грустные звуки, вызывающие у слушателей вздохи сочувствия. Третий — гусляр, аккомпанирует слепому.

Застрявшие на базаре и бродившие по поселку бени-гилы вламываются толпой в кофейню. Неуклюжие и громоздкие люди пустыни с удивлением смотрят на столы и скамьи.

Однако, они улыбаются — они гордятся успехом своих соплеменников у «м'цана»<sup>1</sup>.

Возле музыкантов на полу стоит поднос, на который слушатели бросают медные и серебряные деньги. При каждом звуке упавшей монеты играющий на тамбурине нараспев благословляет великодушные жертвователя.

Но бени-гилы довольствуются тем, что поощряют музыкантов своими позами и одобрительными возгласами. Лишь изредка кто-нибудь из них решится бросить на поднос копейку, долго роясь перед этим в своей «цабуле» (красном комканом мешочке, носимом кочевниками).

Но вот один из кочевников, совсем юный, у которого, очевидно, не выдержало сердце, встает и, приставив к груди суковатую палку, начинает медленный танец.

Среди арабов слышится смех — по жесту с палкою в танцоре узнали пастуха.

Опоясанный красно-зеленою «фута» содержатель кофейни ходит с подносом вокруг посетителей и каждый раз громко произносит имя гостя, заказавшего чай, призывая на него благословение Подателя.

---

<sup>1</sup> Презрительное слово, которым южные марокканцы называют туземцев Алжира, которых они считают отступниками.

## В ПУТИ

После короткой лунной ночи, проведенной на циновке перед мавританской кофейней «Махцен», в ксаре Бени-Унифе, я просыпаюсь с тем легким опьянением, которое я испытываю обыкновенно после сна на дворе, под открытым небом.

Присев на камень у дороги, я ожидаю моего спутника Джилали, туземного кавалериста, который должен проводить меня в Бехар.

Путешествие к группе этих оазисов интересует меня до такой степени, что вся скука, начинавшая овладевать мною в Аин-Сэфре, проходит сама собою, и я чувствую себя спокойною и счастливою.

Начинающийся летний день обещает быть прекрасным. На небе ни одного облачка, над пустыней ни одного пятнышка тумана. Легкий ветерок, дующий с вечера, унес пыль и испарения. На востоке уже занимается заря. На темнеющем западе виднеется бледный лик заходящей луны.

А вот подъезжает и мой спутник. Я сажусь на свою белую кобылицу, и мы поворачиваем наших лошадей в сторону умирающего светила.

Джилали — рослый парень с добрым и открытым лицом кочевника племени трафи. Он предупредителен и расторопен и будет хорошим товарищем по путешествию.

Мы едем по усеянной черными камнями долине, между позолотившимся уже солнцем Джебель-Грузом и низкими холмами Гара.

Направо, у входа в глубокое ущелье Груза, виднеется небольшая пальмовая роща оазиса Мелиа с ее обильными водою сегиями<sup>1</sup> и прозрачными прудами.

В прошлом году спасавшиеся от преследования банды грабителей учинили большой дебош в этих садах, покоящихся сейчас безмятежным утренним сном.

---

<sup>1</sup> Оросительные каналы.

По мере того, как мы удаляемся от бесплодного Бени-Унифа, пустыня несколько меняет свой вид. То здесь, то там из песчаной почвы выскакивают отдельные кустики альфы, расползающейся иногда в довольно широкие темно-зеленые пятна. Чаше встречаются высохшие русла ручьев, поросшие густым кустарником. Большие мастиковые деревья отбрасывают на красную землю свою круглую тень...

...Облако пыли надвигается на нас с запада, навстречу ветру.

Это одна из рот Иностранного легиона, возвращающаяся с юга. Сильно загорелые и покрытые пылью белокожие и большею частью светловолосые люди громко поют свои немецкие или итальянские песни.

На арбах обоза лежат больные.

Взобравшись высоко, поверх багажа, они с утрюмым равнодушием страдающих лихорадкою смотрят на однообразие пустыни, мысленно рассчитывая время, когда они придут в Бени-Униф, откуда их повезут по железной дороге в госпиталь в Аин-Сэфру.

Спустя час мы встречаем другой маленький арбяной транспорт, конвоируемый стрелками.

Конвоиры сняли с себя мешки и ружья и, положив их на телеги, шагают рядом с мулами с видом людей, вышедших на прогулку.

Вот прошли и они, и вокруг нас снова безмолвие пустыни.

Время от времени Джилали заводит песню, но не кончает ее.

Солнце светит нам в спину; дующий сзади ветерок заглядывает иногда в лицо; жара не утомительная. Мы чувствуем себя хорошо, и у нас нет желания разговаривать.

И это всегда так на пустынных дорогах юга. Долгие часы проходят без печали, без скуки, неся с собою умиротворяющее спокойствие, при котором можно жить молчанием... Я никогда не жалела на одного из этих потерянных часов.

## НА ТИХОМ ШАГУ

Путешествовать верхом — это значит не думать, а видеть следование одного предмета за другим и находить смысл своей жизни в измерении пространства. Простота и однообразие медленно разворачивающихся картин природы способствует тому, что мы сами мало-помалу освобождаемся от наших внутренних складок и проникаемся чувством легкости и душевного спокойствия, чего не может, конечно, доставить паровое передвижение своим лихорадочно торопящимся путешественникам.

Когда, изнуряемые жарою, наши лошади лениво переставляют ногу за ногу, я замечаю самую мелкую неровность почвы, и она запечатлевается у меня, как необходимая деталь картины.

Это и есть то здоровое состояние духа, которым когда-то обладали все человеческие расы и которое длится еще рядом с нами в крови кочевников.

В Алжире, глядя на европейцев, стремящихся в один и тот же час, по одному и тому же направлению для того, чтобы сбиться в одну кучу или же бродить вокруг музыки по бульвару, я чувствовала в своей душе что-то неприятное и унижительное для человека. Мне казалось, что лучше пасти баранов, чем составлять одно целое с толпою.

В этих словах нет ни гордости, ни романтизма. Я живу жизнью пустыни так же просто, как погонщики верблюдов, сохары, или туземные наездники, мохаци.

Я всегда была проста и в этой простоте находила глубокое утешение, которым никогда не обманывала себя.

Когда я спала на открытом воздухе, под прекрасным небом Южного Орана, я чувствовала, как мое тело насыщалось энергией земли. Грубая, чисто животная сила заставляла меня вскакивать до зари и, оседлав мою кобылу, двигаться прямо перед собою, не утруждая себя никакими размышлениями. Я не хочу ни изобретать, ни открывать ничего. Я вижу остановки по пути и считаю их незначительными подробностями... В этой каменистой стране, лишенной

зелени, существует нечто, именуемое временем. Восход и закат солнца — это великолепно обставленные и полные глубокого смысла драмы.

Бедуин в грязном хаике чувствует это, но не говорит, а поет... Джилали ни разу не объяснил мне, почему он не оканчивает своих песен.



## НОЧЛЕГ В ПУСТЫНЕ

В прошлом году все ехавшие в Бехар направлялись восточнее гор, на маленький военный пост Бу-Яла, а теперь, с переносом пограничной черты далее к западу, первым этапом служит пост Бу-Аех, лежащий в тридцати пяти километрах от Бени-Унифа.

...Десять часов утра. Долина воспламеняется. Бурые испарения колеблются на изменяющем свои очертания горизонте. Раскаленный песок пышет зноем. Тонкая струйка крови сочится из пересохших ноздрей наших кобылиц. Сильная истома овладевает мною, и, сидя в удобном арабском седле, я качаюсь в нем, как в люльке.

Сегодня мы могли бы сделать два перехода и заночевать в Бен-Циреге. Но к чему торопиться?

Остановимся в Бу-Аехе.

Нужно приблизиться к самому входу в этот «поселок» для того, чтобы заметить его — настолько цвет его построек сливается с цветом окружающей почвы.

Десятка полтора досчатых бараков, земляной редут и около сотни бесформенных шалашей из хвороста для работающих на постройке железной дороги марокканцев — вот и все, что составляет Бу-Аех.

Линия казенной железной дороги оканчивается в трех верстах выше поселка, и строительные работы вносят в жизнь этого затерянного поста некоторое торговое оживление.

В одном из бараков поселка за деревянным столом несколько человек испанцев в своих коротких куртках и больших фетровых шляпах пьют анисовую водку. Эти нескладные, точно высеченные топором люди легко переносят и самую страшную жару и какие угодно лишения.

Через маленькое окошко, проделанное в стене барака, приказчик французского пакгауза в Бен-Унифе выдает рабочим харчи. Я замечаю, что из рабочих все марокканцы и Берберы переменили свои красивые туземные лохмотья на безобразное европейское старье «трабахар», очень не идущее к их большим белым тюрбанам.



Только люди из Фигига и Тафилалы сохранили свои арабские отрепья. Но это случайные работники. Достаточно им почувствовать в кармане двугривенный — и они уже торопятся к себе домой.

Сойдя с лошадей, мы расположились на отдых несколько в стороне от бараков поста и мавританской кофейни, в густой тени больших, как старые дубы, мастиковых деревьев.

В то время, как мы пекли себе картофель, вокруг нас прогуливались, под присмотром легионеров, люди в синих блузах и серых беретах. Я узнала в них «исключенных» из армии, людей последней категории, военных преступников, которых назначают на общественные работы на отдаленных постах. Некоторые из них были оголены до пояса, и тела их были покрыты особою парижскою татуировкой с изображениями пессимистического, кощунственного и, главным образом, непристойного характера, что казалось противным и диким даже в этой дикой стране.

От скуки исключенные и легионеры подошли поговорить с нами. В первую минуту мне было забавно, и я едва удерживалась от смеха, слушая, как они говорили между собою:

— Он недурен, этот арапчонок, у него тонкая кожа!

К нам присоединились и туземные всадники, мохацни. Они из Бени-Унифа, и в них я узнала моих прошлогодних друзей.

Вместе с ними мы приготовили кофе в артельном баке и начали беседовать так, как обыкновенно беседуют люди юга — коротенькими фразами с наивными шутками, без всякого неприличия в словах.

Расположившиеся на вершине холма на самом солнце-пеке сохары дуи-мения подошли и сели возле нас. Мобацни сейчас же начали подтрунивать над их странным говором. Кочевники, насколько умели, не оставались в долгу. Но сквозь внешнюю безобидность шуток чувствовалась старинная ненависть, разделяющая людей алжирского плоскогорья и марокканцев.

Посидев короткое время, сохары ушли, а мохацни начали готовить «меллу», т. е. дорожный хлеб.

Один из всадников, разложив лошадиную торбу, начал месить на ней тесто из манной крупы, смоченной водою из козьего бурдюка. Джилали вырыл руками ямку в песке, другие пошли за дровами.

Мелла, говорит один из всадников, то же самое для людей, что альфа для лошадей: она не дает жиру, но делает человека бодрым.

Вечером унтер-офицеры 1-го Иностранного легиона, видевшие меня в прошлом году во время экспедиции в Хаджерат-М'гил, узнали меня и устроили по этому случаю маленький праздник.

Я унесу о своих хозяевах тем лучшее воспоминание, что, хорошо зная, кто я, они с уважением отнеслись к моему инкогнито.

Мы долго засиделись за незначительною беседою, веденною ради одного только удовольствия поговорить о разных местах Сахары, о «бледе»<sup>1</sup>, передвижениях войск, строительных работах, о будущности этого затерянного уголка.

В этот вечер, после общего ужина в унтер-офицерской столовой, я сама чувствовала в себе душу солдата юга. Без всякой принужденности интересовалась я рассказами этих простых и честных людей и слушала их с таким же удовольствием, как слушают сказки на посиделках в крестьянской избе, случайно попав туда после долгого военного похода.

Таким именно образом в моей памяти, вместе с бивачными огнями, находят себе лучшее место семьи и очаги...

В часы одиночества и мечтаний я снова вижу их в дыме моей папиросы, и они укрепляют мои нервы гораздо лучше, чем воспоминания о минутах восторга, оставляющих после себя ничем не заполнимую пустоту, и чем надежды на высокие качества людей, — надежды, всегда или почти всегда кончающиеся разочарованием с одной стороны и банкротством с другой.

---

<sup>1</sup> Блед — в Сев. Африке внутренние районы, отдаленные сельские местности (*араб., фр.*) (*Прим. ред.*).

Я пришла к тому заключению, что никогда не следует искать счастья. Оно идет по дороге, но всегда в обратную сторону... Часто я узнавала его.

Ночь опустилась уже над долиной. В редуте легионный горнист начинает выводить протяжные ноты сигнала для тушения огней.

На этих маленьких уединенных постах вечерний сигнал производит какое-то особенно грустное впечатление — после него чувствуешь вокруг себя пустыню.

Шум утихает, и последние огни гаснут. Я засыпаю, счастливая и довольная всеми и своею судьбою. Завтра я отправляюсь в новые места, и кто знает — вернусь ли я когда-нибудь отдыхать к подножию этого редута, в этой же обстановке, которая мне сегодня так нравится?

## БЕН-ЦИРЕГ

Мы покидаем Бу-Аех в час самой приятной утренней прохлады. Слабый свет заходящей луны скользит по черным камням тропинки.

Замечтавшийся было Джилали говорит мне, что лучше подождать дня для того, чтобы пройти ущелье Бен-Цирега, ибо в темноте там всегда можно наткнуться на разбойников.

Мы спешиваемся в широком русле уэда<sup>1</sup>, пускаем лошадей на альфу и ложимся отдохнуть на мягкий песок.

Вместо короткого отдыха я проснулась уже среди белого дня и в очаровательном уголке. Дикие кусты, увешанные гроздьями мелких лиловых цветков, возвышались над ярко-зеленым полем альфы, испещренным серебристыми пятнами полыни и лаванды. В тени мастиковых деревьев дикие астры рассыпали свои мелкие звездочки. Словом, как будто по какому-то особому случаю пустыня собрала сюда всю наивную роскошь своего растительного царства.

Сев на лошадей, мы после небольшого пробега вступаем в извилистое ущелье и по глубокому дну уэда выходим в долину Бен-Цирега.

Здесь я невольно останавливаюсь, пораженная самою мрачною из всех виденных мною картин.

Между крутыми контрфорсами Джебель-Бехара с одной стороны и почти отвесною стеною Антара с другой, долина сжимается еще вторым рядом возвышенностей, состоящих из острых, как зубья пилы, холмов. Все эти холмы, обрывистые скаты гор, камни и самое дно долины, точно сажеею, покрыты густым слоем пыли аспидного сланца. Выстроенный у подножия холмов редут своею белою окраскою усиливает ужас этого траурного пейзажа.

«Поселок» состоит пока из нескольких лачуг, маркизантских лавочек и мавританских кафе.

---

<sup>1</sup> Уэд (вади) — арабское название сухих долин временных или периодических водных потоков (*Прим. ред.*).

На противоположной стороне уэда виднеется ряд деревянных крестов христианского кладбища. Кроме двух или трех тощих финиковых пальм, поднимающихся со дна уэда, во всей долине не видно ни одного стебля травы, ни одного листочка.

Не знаю, какой сумасшедший, помешавшийся на ненависти к людям и на любви к могилам, согласится жить в этом месте, страшнее которого не может представить себе самое дикое воображение курильщика опиума.

Вместе с удушливым зноем, долина бросила мне в лицо тучи мелких мух...

Внутренне содрогаясь от ужаса всей открывшейся передо мною картины, я инстинктивно натянула поводья моей кобылицы, когда подъезжала к редуту.

Весь остаток дня я находилась в подавленном состоянии. При закате солнца долина на короткое время осветилась красным заревом пожара. Редут казался массой плавящегося металла. В этот момент Бен-Цирег был красив страшною и захватывающею красотою апофеоза.

В следующее мгновение все погасло. Темная, пугающая своею таинственностью ночь точно упала на землю.

Мы улеглись на дворе перед мавританской кофейней. Я уеду до рассвета, чтобы сохранить о Бен-Циреге впечатление его вечернего зрелища.

## ВОДА ЛЖИ

Сегодня нам предстоит большой и утомительный путь. Еще в темноте пройдя выходное ущелье Бен-Цирега, мы берем направление на маленький пост Бель-Хауари, лежащий на половине пути. Пустыня имеет такой же однообразный вид, как и до Бен-Цирега. Кой-где в высохших уэдах виднеется зелень; темнеют своими широкими тюрбанами мастиковые деревья. Потом снова камни и снова песок.

У Бель-Хауари мы делаем короткий привал, завтракаем и пьем кофе с стоящими здесь на посту туземными всадниками из кочевого племени рзаин. Пользуясь отдаленностью поста, эти воины переменили свой форменный, черный с красными вышивками бурнус на обыкновенный бедуинский бурнус землистого цвета и сделались похожими скорее на грабителей-«джихов», чем на представителей законной французской власти.

За Бель-Хауари мы идем вдоль двойной цепи холмов, весьма оригинального и забавного вида. Так как во время путешествия следует обогащать свой ум новыми познаниями, то я спрашиваю своего спутника, как называется эта странная геологическая архитектура.

— Посмотри хорошенько, — говорит он, — и ты узнаешь, почему здешние люди дали ей имя «Безаз-эль-Кельба» (сучьи соски).

В то же время он подымает руку и указывает мне пальцем на виднеющуюся далеко, далеко впереди темную линию садов Уагды.

Я всматриваюсь, но постоянно меняющиеся от колебания горячего воздуха перспективы не дают возможности определить расстояние. Какое-то кружение начинается у меня в голове, а в глазах все время справа и слева танцуют фантастические «Безаз-эль-Кельба».

Малейшие изменения местности оказывают свое влияние на напряженность света и то усиливают боль глаз, то приносят облегчение.

После каменистых пространств, которыми мы следовали почти все время от Бени-Унифа, перед нами открывается безбрежное море песков. В первый раз в Южном Ороне я вновь испытываю то сильное впечатление, которое испытала когда-то, углубляясь в Сахару с другой стороны.

Теперь я снова узнаю ее, эту заколдованную землю, эту таинственную красавицу, дважды в день наряжающуюся в пурпур и золото вечерней и утренней зари и то млеющую под горячими ласками солнца, то в фимиаме ночных паров возносящую свои молитвы к улыбающемуся ей сиянием своих звезд небу. Я узнаю ее — спокойную и величественную, не знающую ни внезапных вулканических толчков изнутри, ни давящей тяжести гор извне.

Но увы, — я начинаю чувствовать и ее женское коварство.

На моих глазах, точно в театре по мановению режиссера, начинается быстрая перемена декорации. На колеблющемся горизонте дали принимают иную форму, бурый песок исчезает и вместо него появляется широкая полоса воды с отражающимися в ней финиковыми пальмами. Сверкая в солнечных лучах, вода кажется необычайно чистой и прозрачной.

Джилали, как большой ребенок, каким он и есть на самом деле, начинает хохотать во все горло.

— Си-Махмуд, посмотри, как сраб (мираж) смеется над нами и над нашей жаждой! Если бы у нас была только эта проклятая вода лжи, нам пришлось бы высунуть язык или сосать безаз-эль-кельба!

Я смотрю на химерическое озеро, по берегам которого движется эскадрон конницы в красных мундирах. Над его сомкнутыми рядами развевается по ветру красный штандарт. Эскадрон уходит в сторону и исчезает. Это было стадо ослов, возвращавшихся в Уагду, а древком штандарта служила стрела колодца, на которую мираж нацепил кусок красной материи.

Мы идем вдоль находящихся теперь в стороне пальмовых садов Уагды, между маленькими могилами, усеявшими обе стороны дороги. Впереди бурая дюна, у подножия

которой белым пятном выделяется редут «Коломб».

Бехар, Таагда, Коломб — все эти слова смешиваются обыкновенно в одно понятие. На самом же деле словом Бехар называется страна и пролегающая по ней цепь гор. Таагда — это старое селение и пальмовая роща, лежащие выше нового Уагды, а Коломбом называется еще только строящийся поселок.





## В ТЕНИ ОАЗИСА

Таинственное озеро исчезло. Вдали виднеются лишь несколько небольших лужиц, лазоревыми пятнами разбросанных по бурому песку. Тень пальмовых рощ притягивает к себе, как магнит. Наконец, мы въезжаем под сплошной навес финиковых пальм, и наши лошади, войдя по колено в широкий, поросший камышами уэд, жадно тянут свои сочащиеся кровью морды к настоящей воде.

Очутившись в тени, сама я испытываю большую, чисто физическую радость. Повернув лицо навстречу свежему дыханию ветерка, я смотрю на богатую растительность, и мои глаза отдыхают на темной зелени пальм, на усыпанных красными цветами гранатах и на подвенечном наряде точно конфузющихся своей девственной красоты олеандр.

О, как приятно, после воды лжи, познать вкус истины!

Решив войти в Бехар только вечером, мы располагаемся на отдых.

Джилали сейчас же засыпает, а я продолжаю любоваться картиною, хотя и новою, но очень похожею на те, которые я любила и которые объяснили мне таинственную прелесть оазисов. Снова чувствую я здесь характерный для всех богатых влагою пальмовых рощ легкий запах селитры, запах разрезанного плода, дающий пряный привкус всем ароматам, выделяемым жизнью в тени.

Недалеко от меня, на крохотной, освещенной солнцем поляне, бесчисленное множество изумрудных ящериц и кокетничающих своими быстро сменяемыми нарядами хамелеонов резвятся в траве и на камнях...

Каждый в этой жизни ищет и находит свою радость там, где он может.

## НЕВОЛЬНЫЙ ВЗДОХ

Жить одной — значит быть свободной. Я не хочу думать больше ни о чем. В течение тех месяцев, которые я проживу в пустыне, я приведу в порядок мою растерзанную душу... Я помню долгие дни, когда я вела жизнь «бездомной собаки». Я помню бесконечные ночи, когда, сидя на постели, до боли сжимала себе голову, боясь за свой рассудок, когда мое сердце распухало от жалости к самой себе и от сознания своего бессилия. Теперь все это далеко. Оно осталось позади широких пустынь и высоких гор, по ту сторону бесплодного плоскогорья, в том городе, от одного имени которого веет на меня холодом могилы.

Но я забуду все это. Я снова обрету мою гордость и никому больше не отдам ни своей души, ни своего сердца...

Я помню маленькую Суданскую улицу. В крохотной комнатке с фаянсовым полом, выходившей на террасу, где сушилось на солнце белье, я работала, склонив голову над своими бумагами. За стеною шумели неизвестные гости, а я прислушивалась к шагам на лестнице... Теперь я не жду никого, и часы для меня идут, как вот та тень вокруг своей отделившейся от других пальмы.

Если бы я написала на полях полученных мною писем все, что я думала, в моих словах было бы много горечи; но я оставила все мои письма и все мои воспоминания позади меня. Я не хочу теперь ни газет, ни новостей. Кое-что перешлют мне через бюро в Коломбе. Время от времени дойдут до меня известия и оттуда... но не часто... Это даст мне возможность жить самой собою. Мне кажется, что я вступаю в свою жизнь по мере того, как подвигаюсь в неведомые страны.

Этот путь был долог и печален, но мы шли — и этого довольно.

## БЕХАР

На берегу уэда, позади обширных кладбищ, где ветер и верблюжья нога мало-помалу уничтожают следы могил, лежит древний ксар Таагда. Обнесенная высокими глинобитными стенами, фланкируемая с четырехугольных башен, Таагда имеет суровый вид цитадели.

Войдя внутрь ее через низкие сводчатые ворота, мы следуем по лежащим в развалинах улочкам и крытым переходам, столь темным, что среди белого дня приходится идти ощупью. Высокие глиняные дома, иногда в два этажа, расположены без всякого порядка, толпятся в кучи, захватывают улицу.

Как во всех оазисах, в Бехаре все дремлет и все валится. С иссякновением источника энергии деятельность ксурийцев (жители оазиса) медленно угасает, и тяжелый сон, предвестник еще более глубокого покоя, ясно говорит о неудаче попытки устроить оседлую и трудовую жизнь среди тех песков, которые самим Провидением предназначены для перелетных птиц пустыни — кочевников.

Черные «харатины» по преимуществу, но говорящие арабским языком, — жители Бехара молчаливы и недоверчивы. Они заражены до некоторой степени марокканскою спесью и отвращением к людям востока, — «отступникам» (м'цана), но их высокомерие кажется смешным, ибо, в противоположность марокканцам, сами они не воины, а мирные садовники.

В прошлом году, во время оккупации Бехара, оба ксара его, старый Таагда и новый Уагда, были пограблены туземными всадниками и стрелками. С той поры ксурийцы успели ободриться, и уже все вернулись к своим садам.

Новый поселок Коломб представляет собою пока хаос неоконченных построек, куч материалов и глиняного мусора, а в будущем он явится такою же кучею маркитантских лавочек и арабских кафе, как и все остальные военные посты Южного Орана.

Господствующий элемент жителей поста составляют, по обыкновению, евреи и испанцы.

Одетые в черно-зеленые лохмотья, евреи из Кенадзы успели уже разбить свои рваные палатки, поставили походные горны и переплавляют офицерские и солдатские «дурасы» в драгоценности.

Хорошо орошаемые бехарские сады производят впечатление лесов. В сильно пахнущей сыростью тени гранатовых и фиговых деревьев шепчутся прозрачные и холодные сегии. В скошенной траве многочисленные хоры маленьких африканских лягушек дают свой нескончаемый концерт.

## ПИТОМЦЫ ПУСТЫНИ

Вечер. Кроваво-красные испарения повисли над пустынной равниной. По ту сторону узда виднеются развалины древнего ксара Цеккура, разрушенного когда-то Черным Султаном. Кучи глины, обломки стен, постепенно осышающиеся башни уже давно служат убежищем многочисленного населения скорпионов и змей.

Мы медленно проезжаем мимо этого памятника былых дел, направляясь к Бехарскому форту, и в этот момент передо мною встает новое видение, вызывающее во мне какое-то странное чувство.

На краю дороги я вижу корчащуюся в судорогах большую черную массу. Почуввав топот наших лошадей, масса резким толчком приподымается с земли и оказывается вороным жеребцом с перебитыми задними ногами, одиноко издыхавшим при свете угасающего дня.

Упершись на передние ноги, жеребец выгнул спину и, трясаясь всем телом, своими окровавленными ноздрями потянул воздух.

В одно мгновение его большие, уже подернутые тоскою смерти глаза вспыхивают огнем, и долгим ржанием, полным возмущения и боли, он начинает звать к себе вздрагивающих под нами кобылиц.

Джилали снимает ружье и прицеливается в голову животного. Резкий, сухой звук — и жеребец, как подкошенный, грузно падает на красную землю, испуская последний вздох любви.

— Счастливцев, — говорит мне Джилали, смеясь своим беззаботным смехом и кивая назад головою, — он умер влюбленным!

Ночь бесшумно опускается над пустыней, накидывая свое темное покрывало и на развалины разрушенного Цеккура, и на труп вороного жеребца.

## СМЕЛЫЕ ЛЮДИ

Расположенный на возвышенности форт Бехар состоит из глинобитных стен с большими, постоянно охраняемыми воротами. Внутри его кучи камня, дерева и прочих материалов, словом, обычный хаос только что устраивающегося поселения.

Мы входим на большой двор, где маленькие и худенькие лошаденки со спутанными ногами лениво жуют жесткую альфу. Под навесом на голой земле, положив голову на седло, а ружье и патронташ рядом, отдыхают туземные всадники-мохацни. Они смеются, шутят, поют, с беззаботностью ожидая приказа отправиться — может быть, с тем, чтобы никогда не вернуться назад.

Экая важность! Они хорошо знают, что то, что не написано в книге судеб, никогда не случится, а написанного не обойдешь никакою хитростью. Поэтому они никогда не заглядывают в будущее. Они вспоминают смерть только тогда, когда сочиняют и поют песню. Очевидно, фатализм не всегда бывает слабостью.

По своей природе араб вполне благородное существо; он внутренне понимает, что такое мужская честь, и он хочет умереть храбро, лицом к лицу с противником. Но что значит подвиг ради славы — это недоступно уму, в особенности этих простых кочевников. Служа Франции, они охотно отдают ей свое красивое мужество, свою отвагу и неистощимую выносливость. Они служат по совести, и этого для них вполне достаточно...

Рядом с мохацни, отдельной группой, расположились другие беззаботные, другие потерянные дети, но только много сложнее первых — это legionеры, строившие здесь в это время дом под канцелярию местного управления.

Повсюду, на каждом посту Южного Орана, нет ни одной стены, ни одной глинобитной постройки, ни одного вновь разведенного сада, которые бы не были обязаны своим появлением на свет энергии Иностранного легиона. Легионеры строили и создавали все это в дни тревог, когда нужно

было защищаться от грабителей, после ночей, проведенных на сторожевой службе в напряженном прислушивании и ожидании ежеминутных нападений. Это был труд, часто безымянный, может быть, более тяжелый и заслуживающий большего удивления, чем самые красивые подвиги, совершаемые ежедневно в этой далекой и не дающей отзвуков стране.

Мне кажется, что в упоении славою есть что-то умаляющее мужество, отнимающее частицу его красоты. Истинное мужество заключается в бессознательности и упорстве, а его награда — в увлечении делом. В этом смысле хорошие работники обладают истинным мужеством, усугубляя которое духом самопожертвования, они творят величайшие дела, не подозревая этого сами.

## ИЗ СВОЕГО УГЛА

Среди этих смелых людей я не чувствую никакого стеснения. Я пришла к ним во двор и села в углу. Они даже не заметили меня. Во мне нет ничего особенного, и я могу пройти всюду, не привлекая к себе внимания, — важное удобство, чтобы хорошо видеть. Если женщины не большие наблюдательницы, то в этом виноват их костюм и вечное стремление каждой из них сосредоточить все взгляды на самой себе. Это чувство, в конце концов, должно быть, по-моему, весьма лестным для мужчин.

Меня часто упрекали в моем пристрастии к народу. Но где же и жизнь, как не среди него? В других местах свет мне кажется тесным. В известной среде я чувствую искусственную атмосферу, я дышу с трудом и никогда не знаю, что будет «прилично». От бедности же, наивности и даже грубости я если и страдаю, то во всяком случае не глубоко. Мне гораздо невыносимее жалкая посредственность с ее вечным стыдом, отсутствием смелости и стремлением жить с разумным расчетом. Я всегда удивлялась тому, что модная шляпа, красивый лиф, пара хорошо сшитых ботинок, немножко серебра и фарфора были вполне достаточны многим для того, чтобы утолить их жажду счастья. Еще в совсем юные годы я чувствовала, что мир Божий гораздо шире, чем он кажется из окна, и мне хотелось видеть его своими глазами. Я создана была не для того, чтобы кружиться по манежу с шелковыми наглазниками.

Я не придумывала себе идеала, а отправилась на разведку. Я хорошо знаю, что такой путь усеян опасностями, но момент опасности есть в то же время и момент надежды. К тому же я всегда была проникнута мыслью, что нельзя упасть ниже самой себя. Когда мое сердце страдало, оно начинало жить. Не один раз во время моей скитальческой жизни я с тревогою спрашивала, себя, куда я иду, — и в конце концов среди простого народа и кочевников я поняла, что поднимаюсь к источнику жизни, — совершаю путешествие в глубь человечества. В противоположность многим ис-



кусным психологам, я не открыла никакого нового чувства, а только вкратце повторила сильные ощущения, и вот сквозь всю мелочь встреченных мною на пути неприятностей желательная кривая моего существования вырисовалась вполне отчетливо.

В этих словах, может быть, недостаточно последовательных, но зато вполне искренних, заключается объяснение, почему я имею право интересоваться многими скромными вещами.

Сейчас мой взгляд покоится на этом маленьком дворе Бехарского форта, он фотографирует его виды и схватывает их во всей их простоте.

## НА ДНЕВКЕ

В маленькой, оборванной и полной мух кочевнической палатке белый ксуриец из Кенадзы открыл арабскую кофейню. Принесенные на хранение седла и ружья всадников и бедные пожитки пехотных солдат валяются тут кучами.

Мохацни и спаисы приходят в это случайное убежище пить тепленький чай и играть бесконечные партии испанской «ронды» или в домино с тою страстью, которую арабы вносят в игру.

Когда они играют, сирокко может потрясать палатку, песок может хлестать им в лицо, мухи ослеплять глаза, — никто и ничто, кроме служебного сигнала, не в состоянии оторвать их взглядов от засаленных карт или маленьких четырехугольников из черного дерева или кости. Крики, смех, нередко страшные споры, готовые, если бы не боязнь начальства, закончиться кровавым столкновением, сопровождают эти игры, поглощающие добрую часть жалованья.

С такою же беспечностью подождет вечера и мы.

Во дворе арабского бюро в Бехаре, так же, как в Бени-Унифе, как вообще на всех постах Юга, после вечерней молитвы громкие песни еще долгое время будят эхо мертвой пустыни.

Мечтательная, беззаботная и страстная душа кочевников целиком уходит в это дикое пение. Волны звуков, поднявшись с земли, несутся умирать в небесные пространства, а их грусть переполняет собою и мое сердце...

## КЕНАДЗА

Каддур или Барка, начальник хуанов<sup>1</sup> ордена Циания в Бехаре, дал мне в проводники негра Амбарека, с которым я и выступаю на рассвете.

Воздух свеж и прозрачен; только легкий туман, подымаясь из глубины уэда, стелется голубою дымкою над пальмовыми рощами. Никаких признаков сирокко.

Долина, по которой мы следуем (я верхом, а Амбарек пешком), идет между двумя рядами невысоких холмов. Пустыня имеет совершенно такой же вид, какой она имела и ранее, начиная с Безаз-эль-Кельба. Тот же беловатый песок, те же пологие скаты, словом, та же однообразная гармония длинных линий без углов, без изломов и даже без шероховатостей — точно океан, застывший во время мертвой зыби.

По мере того, как мы подвигаемся к западу, холмы становятся ниже. Поднявшееся за нашими спинами солнце дает уже чувствовать себя. Наши тени, отбрасываемые на бледнеющую почву, постепенно укорачиваются.

Но вот мы всходим на возвышение, усеянное кремнями и осколками аспидного сланца, и перед нашими глазами на подернутом розоватою мглою горизонте показывается Кенадза, с голубою линией ее пальмовых рощ, темными пятнами отдельных деревьев и выстреливающим в небо миаретом, который в еще косых лучах солнца кажется вылитым из красной бронзы.

Спустившись с возвышения, мы почти целую версту следуем по тропинке между двумя рядами кем-то посаженных и затем покинутых высоких фиговых деревьев. Под их тенью ползет, крадучись, подземная сегия, выглядывая по временам на свет Божий синеватыми пятнами прозрачной и холодной воды.

Кенадза уже ясно вырисовывается перед нашими глазами. Раскинувшийся по склону невысокого холма ксар ее

---

<sup>1</sup> Т. е. членов религиозного братства (*Прим. ред.*).

в живописном беспорядке спускается вниз террасами. С левой стороны темнеют большие сады. С правой почти отвесно подымается золотящаяся на солнце дюна с уродливою шапкою точно набросанных на нее угловатых обломков скалы. У ее подножия яркою белизною сияет кубба Леллы-Айши, святой мусульманки из рода знаменитого Сиди-М'хамеда-Бен-Бу-Циана, основателя Кенадзы и ордена Циания. Вокруг куббы белыми точками надгробных плит пестреют бесчисленные могилы правоверных, постепенно поглощаемые песками пустыни. Кладбищам здесь отводятся самые почетные места. Все города Сахары начинаются с них...

Обогнув этот некрополь с веками накопившиеся в нем человеческою пылью, мы выходим на дорогу, ведущую вдоль высокого земляного вала, окружающего собою ксар, и, наконец, вступаем в последний через довольно широкий проход, заграждаемый массивными створчатыми воротами.

Первый квартал, т. наз. Мелла, т. е. грязный, населен евреями, живущими в тесных лавчонках и даже просто на улице.

Здесь, в противоположность тому, что я видела в Фигиге, еврейки хотя носят такой же костюм, но живут не в заточении. Они громко судачат перед дверьми их жилищ, тут же на глазах прохожих умываются, полощут белье и варят пищу.

...Еще один поворот — и мы входим в более узкую, но более чистую улицу, которая точно исчезает вдали под сводами нависших над нею домов...

## ПРИБЫТИЕ В ЗАУЙЮ

Кенадза признает верховную власть фецкого султана. Таким образом, я нахожусь сейчас на мароккской территории, в двадцати пяти верстах от Бехара, составляющего французские владения. Но где в действительности пограничная черта? где кончается Оран и начинается Марокко? Никто не беспокоит себя этими вопросами. Да и к чему, собственно говоря, здесь точная граница? Нынешнее крайне неопределенное положение как нельзя лучше подходит к характеру арабов. Оно не затрагивает ничьих интересов и удовлетворяет всех... в том числе и меня, думающую сейчас, главным образом, о том, в какое убежище приведет меня эта узенькая улица, по которой я еду, и как примут меня те люди, к которым посылает меня судьба.

Но вот шедший впереди меня невольник останавливается, берет мою лошадь под уздцы и жестом показывает, что нужно сойти на землю.

Мы проходим последние ворота и вступаем в зауйю<sup>1</sup>.

Три или четыре черных раба встречают нас. Мой проводник повторяет им то, что сказал ему Каддур или Барка, т. е. что я — Си-Махмуд-улд-Али, молодой ученый из Туни-са, путешествующий из зауйи в зауйю для усовершенствования в знаниях.

Меня усаживают на землю, на сложенный в несколько раз шерстяной мешок, и отправляются с докладом к нынешнему марабу, Сиди-Брахиму-улд-Мохамеду, к которому я запаслась рекомендательным письмом от одного из его хуанов в Аин-Сэфре.

Выстроившись вдоль стены, рабы стоят молча. Двое из них харатинцы. Молодые, безбородые, они одеты в серую «джелабу», какую носят жители Марокко. Их бритые головы повязаны кисейною тряпкой. Третий, более черный, выше ростом и одетый в белое, суданец. На его лице вид-

---

<sup>1</sup> Совр. завия — суфийская обитель, включающая мечеть и помещения для жилья духовного наставника, учеников и странников (*Прим. ред.*).

ны глубокие следы от прижигания раскаленным железом. Все трое вооружены «кумией», т. е. длинным кинжалом с кривым клинком. Медные ножны с насечкой поддерживаются красивым шелковым шнуром, надетым в виде перевязи.

Наконец, после доброй четверти часа ожидания, показывается новый черный раб высокого роста с маленькими, круглыми, шныряющими глазками.

Почтительно поцеловав шнурки моего тюрбана, он ведет меня на обширный пустой и молчаливый двор с покатою плоскостью.

Слишком покойная атмосфера и целый ряд дверей, увеличивающих проходимое мною расстояние, начинают возбуждать во мне некоторую тревогу.

Еще одна узкая и низкая дверь — и мы входим в большую квадратную комнату, похожую на внутренность мечети. Дневной свет проходит сюда сквозь четырехугольное отверстие в потолке из расположенных со вкусом брусьев.

Рабы расстилают ковер — значит, я уже у себя. Здесь я буду жить... Один Бог знает, сколько времени.

В то время, как негры уходят, чтобы принести мне кофе и холодной воды, мои глаза свыкаются с полумраком, и я осматриваю мое помещение — отчасти в видах безопасности.

Узкая и крутая лестница из черного камня ведет на террасу. Налево глубокая ниша с железным бразеро для приготовления чая и с отверстием в потолке для выхода дыма. Посреди комнаты маленький бассейн и глиняный кувшин с водою, т. е. принадлежности для омовения. Вода в бассейне может служить зеркалом. Четыре колонны поддерживают потолок. В глубине комнаты деревянная дверь, разрисованная цветочками.

Эта комната для гостей должна быть очень древнею, ибо стены и потолок сделались черно-зелеными, а колонны на высоте человеческого роста гладкими и блестящими, точно отполированными трением рук и одежд...

После стольких путешественников засну и я в этом убежище.

## НОВАЯ ЖИЗНЬ

Я только что собралась закрыть глаза, как ко мне входит Сиди-Брахим, главный марабу ордена Циания. Он остановился передо мною, и я внимательно вглядываюсь в этого весьма интересующего меня человека. Сильного сложения, с круглою седою бородою и лицом, помеченным оспою, он важен природною важностью, но в нем нет ничего сурового. Его жесты медленны и степенны, улыбка добрая и привлекательная. Одет он в безукоризненно белое платье под такого же цвета тонким шерстяным хаком. Большой тюрбан покрывает ему голову. По типу и прищепывающему выговору он похож на горожанина Марокко, но в то же время в нем виден и житель оазиса.

Вместе с ним вошел его племянник и доверенный человек Си-Мохамед-Ларедж. Небольшой и худощавый, он одет в такой же белоснежный костюм, его глаза светятся умом, но улыбка говорит о застенчивости и мягкости характера.

С большим достоинством Сиди-Брахим приветствует меня с благополучным прибытием и с деликатною осторожностью предлагает мне несколько вопросов, разделяемых паузами и сопровождаемых любезностями. Затем оба марабу, точно две белые тени, бесшумно выходят в дверь.

Эта недолгая встреча оставила во мне впечатление безопасности. Гостя этих людей, я буду жить в тиши их дома. Они уже внесли с собою ко мне все спокойствие их духа, и их покой начал переливаться и в меня. С этого времени не волнуемая ни раскаяниями, ни желаниями моя совесть будет освещать мою душу таким же тихим и ровным светом, как ночник комнату выздоравливающего. Тот пожар, который зажигает в нас наука, ненависть или любовь, погаснет под пеплом уже принесенных ему в жертву страстей, и я в состоянии буду продолжать свой жизненный путь, не задыхаясь от торопливости и опасений. Однако за этим ли я пришла сюда? Утолится ли, наконец, моя жажда и на сколько времени?

Я надеюсь, что да. Пустыня, которую я так долго шла, была вместе с тем и пустынею моих желаний. Моей душе гораздо более, чем моему телу, необходим отдых. Нужен продолжительный и глубокий, подобный смерти сон, после которого она пробудилась бы, обновленная в забвении и перекаленная в бессознательности.

Амбарек подымается на террасу и набрасывает циновку на «глаз дома».

В наступившей темноте тучи осаждавших меня мух разлетаются. Прохладная струя воздуха притекает сверху. Я ложусь на ковер. Я одна и мало-помалу от спокойного отдыха перехожу к крепкому и тяжелому полуденному сну...





## РАБЫ

С утра до вечера округленная чернолицыми, не слыша ничего, кроме тонких голосов и протяжного говора рабов, я чувствую себя заехавшею очень далеко. Это странное впечатление, испытываемое мною в первые дни пребывания в Кенадзе, усиливается еще тем, что в зау́йе много негров из далекого Судана.

Деда́ этих рабов прибыли к Кенадзу после долгих и мучительных странствований. Захваченные сначала в плен во время бесконечных междоусобных войн, они проданы были мавританским купцам, потом перешли к туарегам, которые в свою очередь перепродали их берберам.

Уже их дети начали забывать родной язык, а внуки, т. е. нынешнее поколение, говорят исключительно по-арабски, так как в Кенадзе неизвестен даже язык «шелха», весьма распространенный на западе Марокко.

Те из суданцев зау́йи, которые сохранили чистоту своей крови, представляют собою людей здоровых, сильных и даже красивых. Родившиеся же от браков с харатинками — малорослы, хилы и непропорциональны в своем сложении.

Но как одни, так и другие производят на меня отталкивающее впечатление. Необычайная подвижность их лиц, выражающаяся в нервных подергиваниях и гримасах, и беспокойный, вечно бегающий по и сторонам взгляд, при самом добром желании с моей стороны, не могут заставить меня считать этих двуногих моими братьями.

Из рабов мне нравится один только Ба-Махмаду, или Салем — ключарь и доверенный человек Сиди-Брахима. Это большой и спокойный суданец со следами каленого железа на щеках. Он всегда одет в безукоризненно белое платье и длинный черный бурнус. В выражении его лица и жестах нет ничего, напоминающего собою человека-обезьяну.

В отличие от других негров, Ба-Махмаду внутри самого себя находит секрет плавных движений и почтительных поз. Каждый раз, когда он входит к белому мусульманину, он оставляет свои туфли за дверью и с достоинством кланяет-

ся три раза...

Было бы весьма интересно описать положение здешних рабов, но для этого нужно сначала самому выздороветь от предрассудков высшей расы и суеверий низшей,..

Почти все эти рабы имеют свои дома в ксаре, свои участки в пальмовой роще и даже маленькие стада. Они продают за свой счет шерсть, мясо, финики, но в то же время обязаны работать и на своих господ.

Для того, чтобы вступить в брак, они должны испросить разрешение главы зауйи.

Таким образом, они ведут двойственное существование: господа, «сайды своих домов», в ксаре — и рабы в зауйе, где, между прочим, обязанности их весьма неопределенны.

## ЖЕНСКИЙ МИРОК

Женщины составляют здесь особый мирок со своею иерархией.

Первое лицо лелла (госпожа).

Мать Сиди-Брахима несет на себе все обязанности по внутреннему управлению. Она заведывает приходами, расходами и сбором приношений. Ее никогда не видно, но ее власть чувствуется на каждом шагу. Внушая всем боязнь и любовь к себе, старая мусульманская правительница-мать живет почти затворницей. Изредка под густым покрывалом выходит она только для того, чтобы поклониться гробницам Сиди-Бен-Бу-Циана и Сиди-Мохамеда, ее покойного мужа.

Вокруг нее, как вокруг своего светила, вращается мирок бледнолицых женщин — жен марабутов. Еще ниже идет простой народ негритянок — девиц, замужних, вдов или разведенных.

Среди этих цветных женщин царит большая распущенность нравов. За несколько медных монет, яркую тряпку и даже ради одного удовольствия, они делят свою любовь с кем угодно — арабом или негром. Они открыто делают первые шаги каждому гостю и предлагают себя с бесстыдством бессознательным и часто смешным.

Рабы-мужчины сдерживают еще немного волнение своей крови, но женская половина черных свободно отдается своим инстинктам во всем, и ее ссоры так же пусты, как и ее любовь. Иногда во дворе слышится громкая брань, которой предшествовал кулачный бой внутри помещения и выскакивание нагишом на солнечный свет.

Как-то утром две негритянки поносили друг дружку перед моею дверью:

- Блудница жидовского квартала!
- Отступница! Воровка! Семя несчастья! Горький корень!
- Пошли тебе Бог смерть, жидовка, дочь шакала!

Свистящий звук управляющего Каддура кладет конец скандалу.

Женщины расходятся, как оцетинившиеся суки, сверкая  
зубами и кусая слова, точно тело соперницы.



## ПРЕВРАЩЕНИЕ

Вот уже больше недели, как я живу здесь, и моя жизнь течет так же медленно, как вода в ленивой сегии. До сих пор я еще не выходила из зауи. Здесь нельзя и подумать сделать что-нибудь без ведома и одобрения Сиди-Брахима, ибо сейчас же натолкнетесь на молчание рабов и неумолимость запертых дверей.

Почему же не хотят они, чтобы я выходила? Это начинает тяготить и даже беспокоить меня. Мое милое уединение становится уже не добровольным, а моя комната начинает походить на укромную тюрьму.

Наконец, сегодня утром я попросила позволения видеть марабу и высказала ему свое желание.

Добрый марабу улыбнулся.

— Си-Махмуд, дитя мое, пусть никакая горькая мысль не приходит тебе на ум! Если ты хочешь выйти — это зависит только от твоей доброй воли. Но тебе необходимо переодеться. Ты знаешь, что на алжирский костюм, который ты носишь, здесь смотрят враждебно. Конечно, ты не встретишь никакой серьезной опасности, но тебе открыто будут бросать в лицо «м'цана»<sup>1</sup>.

Действительно, марокканцы ненавидят алжирских мусульман, пожалуй, даже более, чем христиан, потому что первые, по их мнению, отреклись от ислама, а вторые остались лишь тем, чем были, т. е. неверными.

И вот для моих выходов я начинаю превращаться в марокканца. Я снимаю с себя тяжелое одеяние алжирского всадника и облакаюсь в легкую белую «джелабу», желтые «савато», которые надеваются на босую ногу, и маленький белый тюрбан.

Этот костюм много легче и прохладнее, но я с ужасом думаю об убийственных лучах полуденного солнца и спрашиваю себя, достаточен ли будет этот почти прозрачный го-

---

<sup>1</sup> Отступник.

ловной убор, чтобы предохранить меня от солнечного удара.

Я делюсь своими опасениями с Ба-Махмаду. Суданец спокойно улыбается.

— Бог и Сиди-М'хамед-Бен-Бу-Циан предохранят тебя, если ты пришел сюда с верою и чистосердечием.

...Будем надеяться, что столь успокоительные предсказания Ба-Махмаду исполнятся и что новый костюм, очень забавляющий меня в эту минуту, не повредит искренности моей души.

## НА БАРГЕ

Барга — это та причудливо увенчанная обломками скал небольшая гора, которая возвышается над Кенадзой.

В одно ясное и свежее утро я отправляюсь туда на прогулку. Сначала я перехожу через кладбище. Затем позади куббы Леллы-Айши, подернутой розоватым отблеском зари, точно покровом целомудрия, я поднимаюсь по узкой песчаной тропинке, идущей иногда под горами камней, готовых ежеминутно обрушиться в пустоту.

С вершины горы в прозрачном утреннем воздухе перед моими глазами открывается необъятная, ничем не прерываемая даль. Лишь в одном месте по направлению к с.-в. виднеется темно-голубая масса Джебель-Бехара.

Уже вставшее с своего царственного ложа солнце величественно плывет по океану света, алого внизу и незаметно переходящего в золотисто-зеленоватый в зените. В эту минуту мне невольно припоминаются картины Нуаре, единственного художника, сумевшего передать всю необычайную красоту южного утра.

Вдохновляемая солнцем, здесь вся природа в пении красок возносит хвалу своему Создателю. Каким-то внутренним чувством я слышу этот торжественный гимн, я улавливаю присоединяющиеся к хору все новые и новые голоса. Я вижу, как загораются золотом пески дюн, как вспыхивают яркою белизною солончаки, как расцветчиваются цветами радуги безжизненные скалы...

Я смотрю на раскинувшийся внизу ксар, и в этот момент он кажется мне построенным для моих глаз. Мне нравятся теплые краски его домов, переходящие от темно-фиолетового до красно-коричневого и золотистого оттенков.

Небольшой караван верблюдов, нагруженных черными мешками и сопровождаемых несколькими оборванными уледжеридами, выступает из окраины селения и направляется в пустыню.

Что-то страшно далекое и в то же время как будто хорошо знакомое чувствуется во всей этой картине. Останови-

лось ли здесь время и продолжает оставаться таким, каким было оно на заре человечества, или же оно непрерывно возвращается назад?





## ОТШЕЛЬНИК

На вершине Барги, в узкой пещере, высеченной в опаленной солнцем скале, живет отшельник. Загорелое и страшно исхудалое лицо его обросло длинною бородою. Седые волосы редкими космами спускаются на плечи. Восторженный взгляд устремлен в пространство, а губы быстро произносят какие-то таинственные слова...

В ранней молодости, еще тогда, когда благодать Божия не коснулась этого святого человека, он собственными ногами исходил Марокко, Алжир, пустыню и Судан. Это было одно из тех интереснейших путешествий, которое в нынешнее время доступно одним только арабам. Переходя из оазиса в оазис, из селения в селение, он именем Всевышнего стучался в сердца людей и находил у них и хлеб и пристанище.

Утомленный, наконец, суетностью человеческой жизни и не найдя у ученых из людей ответа на самые простые вопросы его души, он вернулся на родину и навсегда поселился в этой серой пещере. Вот уж двадцать лет, как он не выходит из нее, и он выйдет не иначе, как несомый правоверными в тот город ненарушимого покоя, который белеет внизу своими остроконечными каменными плитками.

С чувством зависти смотрю я на этого прекрасного своею духовной красотою анахорета Сахары. Его подвиг вызван был страстным желанием еще при жизни проникнуть в тайну вечности, — желанием, дремлющим в глубине каждой бесхитростной души.

Это желание пробуждается иногда и у меня, но... увы, ненадолго...

От людей, считающихся умными и серьезными, я слышала, что они никогда не испытывают подобного томления, и что суета и соблазны земной жизни манят их к себе так же, как блестящая, но короткая иллюминация, после которой должна наступить вечная ночь.

Один из них, с кем я делилась всем, что есть самого чистого в моей мечтательной душе, сказал мне однажды в

приливе тоски по родине:

— Я нахожу жизнь привлекательною лишь благодаря уверенности, что в один прекрасный день я умру. Мне нужно знать, что она не будет длиться без конца.

Такое состояние души понятно мне гораздо менее, чем та восторженность, которою светится лицо отшельника на Барге.

Вот этот, мне кажется, стоит уже на пороге вечности и своими духовными очами видит то, что непроницаемою завесою закрыто от глаз величайших из книжников.

## ДУРНЫЕ ВЕСТИ

Вчера во время полуденного отдыха ко мне неожиданно входит сильно взволнованный Сиди-Брахим, держа в руке какое-то письмо.

— Си-Махмуд, — говорит он, — я только что получил из Уджды письмо, где мне сообщают, что Хадж-Мохамед-улд-Абдельк-хот, марабу кедрийцев, убит людьми Бу-Амамы, — да накажет убийцу Всевышний!

Протянув мне письмо, Сиди-Брахим в изнеможении опустился на ковер.

В письме, написанном на измятом клочке серой бумаги и принесенном посланцем из зауьи Уджда в заюю Кенадза, за 400 верст, рассказываются обстоятельства смерти Хадж-Мохамеда, который отправился к Бу-Амаме, чтобы уговорить последнего не вносить опустошение и войну в Ангад.

Бу-Амама принял своего соседа радушно и надавал ему всевозможных обещаний, но на обратном пути, когда Хадж-Мохамед спустился в долину, один из слуг старого разбойника догнал его и, под предлогом сообщить тайну, увлек его от спутников к руслу высохшего ручья. Спрятанные там в засаде люди убили несчастного марабу.

По мере того, как я разбираю это послание, в моем воображении вырисовывается окруженная цветущими персиковыми деревьями белая заюя Кедри, где всего лишь три месяца назад ныне покойный Хадж-Мохамед принял меня с братским радушием и где за все время моего пребывания я пользовалась полной свободой и гостеприимством.

Теперь вся несчастная Уджда рисовалась мне наводненной голодными бандами Бу-Амамы, залитою кровью, разоренною и повергнутою в отчаяние...

— Да, Си-Махмуд, — говорит мне мой опечаленный хозяин, — Могх-риб (Марокко) погибнет, если там начнут убивать незащитных слуг Божиих, людей молитвы и благочестия, не носящих ни меча, ни ружья. Должно быть, Господь ослепил сынов этой страны, раз они настолько сбились с

пути Его, что изменили своему султану, потомку Пророка,— да будет с ним молитва в этом и спасение в будущем мире! И за кем последовали они? За такими презренными самозванцами, как Бу-Амама и Бу-Хамара.

— В самом деле, — продолжал Сиди-Брахим, — чем, как не безумием, можно объяснить любовь народа к Бу-Амате, сыну убогого старьевщика из Фигига, человеку без рода и образования, зачинщику ссор и убийств, обманывающему людей ложными чудесами и фальшивыми обещаниями? Видит Бог, что дом Бу-Аамы построен на зыбкой почве лжи и беззакония. Да. Но разве кочевники пустыни не так созданы, что чем глупее выдумка, тем охотнее верят они в нее! Горе тому, кто скажет им правду: они будут презирать его и если смогут, то убьют... А что скажешь ты, ты, который читал слово Божие и посетил столько городов и стран, что скажешь ты о Бу-Хамаре? Чем объяснишь ты невероятный успех этого человека, которого еще вчера не знал никто и который не сегодня-завтра может сделаться султаном — эмиром правоверных? Он называет себя Мулай-М'хамедом, лишенным владений братом Мулай-Абделазиса. Но почему же из тех, кто знал покойного Мулай-М'хамеда, не находится ни одного достойного веры человека, который бы открыто сказал правоверным: «Да, действительно, это он», или же разоблачил самозванца? Другие утверждают, что Бу-Хамара происходит из Санхаджа в Джебель-Церхауне. Однако никто ни в Санхадже, ни в Церхауне не знает этого человека. И вот приходится думать, что этот Бу-Хамара не сын Адама, а какой-то «джен» — дух огня, знамение времени, бич Божий, свалившийся с неба или выскочивший из преисподней для того, чтобы учинить казнь над развращенным и преступным Могх-рибом!... Вы, люди востока, вы счастливы. Вы в мире наслаждаетесь благами, ниспосылаемыми Всемилостивым. Мы же, несчастные сыны Могх-риба, живем в стране голодных волков, где реки переполняются кровью и торжествует беззаконие. В каждый час дня и ночи мы дрожим за нашу жизнь и наше имущество. Вот, например, Си-Махмуд, мы имели значительные доходы в Тафилала, Эль-Утате, Феце и особенно Ангаде. Теперь же, ко-

гда войска самозванцев наводнили страну, — мы не соберем и четверти прошлогоднего. Между тем, бедные, сироты, бесприютные женщины, учащиеся и путешественники стекаются к нам со всех сторон, прося хлеба и крова, которые мы должны дать им по указу нашего господина, — да возвеселится о нем Всевышний! Ах, Си-Махмуд, будем молиться Богу, да уничтожит Он Бу-Амаму, сына старьевщика, выдывателя плутней, и Бу-Хамару, темного человека, желающего на спине ослицы подняться по лестнице, ведущей к тысячелетнему трону, и овладеть наследством, которое Мулей-Идрис завещал своему потомству, согласно воле наследника миров....

И вот со вчерашнего дня Сиди-Брахим начинает навещать меня часто, принося с собою печальные вести о делах, происходящих в нечестивом Марокко, и слухи из внешнего мира...

Но все эти новости, раньше чем достигнуть жаркой и чистой тени отдаленной зауьи, теряют на своем пути почти весь ледяной холод трагической действительности.

Кроме того, однообразие моей жизни в Кенадзе делает меня все более и более глухою ко всем волнениям необузданных человеческих страстей, и бывают минуты, когда мне кажется, что я не живу, а лишь спокойно перелистываю страницы с самого детства хорошо знакомой всем нам книги.

## ЛЕЛЛА

Бесконечный день тропической лихорадки и тяжелых страданий. Целыми часами лежу я на циновке в маленькой комнатке, выходящей на террасу, и смотрю на раскаленный горизонт.

Вечером, когда воздух посвежел и мне стало немного лучше, я собираюсь с силами и тащусь к перилам. Из всех ощущений, испытываемых мною здесь, — самое приятное, доводящее меня до физической расслабленности, — это каждый вечер смотреть на закат солнца, медленно погружающегося в море огня...

Однако, что ж это значит? Вот уже наступила и ночь, а ко мне до сих пор не приходил ни один невольник. Мне не приносили ни чаю, ни обеда, и у меня нет ничего, кроме небольшого количества воды на дне скомканного «делуа», капля по капле просачивающейся на пол.

Я решаюсь позвать.

На соседней террасе показывается старая негрятенка и говорит мне, что все рабы ушли для ночного бдения у мертвого тела в квартале мечети.

Ну, что же делать! Кое-как раскладываю ковер на еще теплой террасе и укладываюсь спать, утешая себя мыслью, что голодному человеку снятся лучшие сны.

На заре ко мне входит Ба-Махмаду с сокрушенным видом и еще более почтительными приветствиями, чем обыкновенно.

— Сиди-Махмуд, лелла послала меня сказать тебе, что она просит тебя во имя Бога и Сиди-Бен-Бу-Циана простить ее и изгнать из твоего сердца всякую горечь. Вчера вечером мы все пошли провожать ее к телу святой женщины Леллы-Фатимы-Ангадия, — пошли ей Господь Свое милосердие! Вот почему лелла забыла послать тебе чай и ужин. Она просит у тебя прощения за эту невольную обиду и призывает на тебя благословение Бога и своих предков...

Я никогда не увижу ее, эту всемогущую и всеми почитаемую леллу, простирающую культ гостеприимства до то-

го, чтобы посылать к незнакомому пришельцу человека с особым поручением просить прощения за простую забывчивость, не могшую иметь никаких последствий.

Какова она, эта знатная мусульманская дама, к которой я не могу проникнуть, потому что я «Сиди-Махмуд» и меня продолжают принимать за такового?... Если бы даже по нескромности из Бехара здесь и явилось подозрение, то мне не дадут почувствовать его, ибо это было бы противно правилам мусульманской вежливости...

## В МЕЧЕТИ

Сегодня пятница — выход в мечеть для общей молитвы.

Почти сейчас после полудня, во время обычного здесь дневного отдыха, откуда-то издалека, точно во сне, ко мне доносится певучий голос: это муэддин с высоты минарета возвещает правоверным «зуаль», т. е. первый призыв.

Я встаю, холодной ванной пробую разогнать тяжелую сонную одурь и, сопутствуемая молчаливым суданцем Фараджи, выхожу на ослепительный свет двора. Инстинктивно держась поближе к стенам и ставя ноги на узкую полоску тени, мы проходим по тесным улочкам вдоль разваливающихся садовых заборов и выходим в песчаную долину.

В этот час самой убийственной жары пустыня кажется раскаленной печью. Камни и песок дышат нестерпимым зноем. Над солончаками колеблется бурый пар. Солнце сверху грозит ударами и лихорадкой, и мое слабое человеческое существо чувствует себя подавленным и разбитым; грудь жжет точно огнем, а в голове ощущается совершенная пустота.

Но вот мы вступаем в ксар, где есть немного тени. Мусульмане и группами, и в одиночку идут и впереди и позади нас. По обе стороны пути стоят слепые нищие, читающие нараспев изречения из Корана.

Мечеть обнесена загородкою из одного бревна, поднятого настолько, чтобы помешать детям и животным проникнуть в святое место. Переступая загородку, все правоверные одним и тем же жестом снимают свои желтые туфли и несут их в руке.

В свою очередь, мы переходим двор почти бегом, спасаясь от болезненных ожогов, причиняемых раскаленным песком.

С вступлением в святилище сразу же чувствуется приятная свежесть, полумрак и покой.

Все бело и голо внутри этого древнего убежища Сахары. Массивные, четырехугольные столбы, соединенные по несколько штук в одну колонну, поддерживают потолок из



грубо вытесанных брусьев старого финикового дерева. Рассеивающийся свет падает с высоты сквозь особые щели, образуя голубые и светлые полосы вверху и оставляя в темноте весь низ мечети. На потертых циновках молятся жители Кенадзы и кочевники. Направо, под слуховым окном, пропускающим более теплый свет, студенты медресы и их профессора — толбы — читают нараспев Коран. Им вторят стоящие за ними дети, ученики младших классов. В разных местах мечети, сидя в одиночку у колонн, талобы громко славословят Пророка.

Все эти голоса, — суровые, нередко чистые и красивые голоса мужчин и звенящие голоса детей — сливаются в одно громкое журчание, в одну заунывную песнь, то поднимающуюся до очень высоких нот, то спускающуюся до едва слышного шепота, но, благодаря эху деревянного потолка и стен, наполняющую мечеть стройным переливающимся гулом...

На минарете раздается второй призыв муэддина. Его голос кажется нисходящим из таинственных сфер, потому что сам он высоко, и его не видно. Кроме того, особенное состояние духа подводит здесь людей вплотную к границе чудесного.

В конце второго стиха призыва голоса толб становятся протяжнее, тише и, наконец, замирают во вздохе. В этот момент, точно для того, чтобы облегчить чересчур подавляющее впечатление службы примесью к ней наивности и живой радости, — толпа детей, с треском опрокидывая коранные подставки, бегом устремляется к выходу из мечети.

Теперь наступает полное молчание; все наклоняют головы и прислушиваются.

Из густой тьмы, оттуда, где находится михраб, т. е. большая ниша, указывающая направление на Мекку, раздается надтреснутый и дрожащий голос имама. Он читает «хотбу» — длинную молитву, прерываемую поучениями, заменяющими собою проповедь. Ее слушают, сидя и в молчании.

Имам — это не священник, а просто самый ученый и самый почитаемый из присутствующих талобов. Каждый ученый человек может быть имамом, ибо он должен уметь

только произнести молитву с подлежащими пояснениями. В исламе нет таинств, нет святых даров, а поэтому нет и священников.

Во время чтения хотбы какой-то человек в белой рубахе, опоясанный простою веревкою и с непокрытою головою, несет ведро холодной воды и глиняную кружку. Он поит стариков и больных. Это доброе дело он выполняет по обету каждую пятницу...

...Снова с вышины доносится голос муэддина — это третий и последний призыв. Старый имам кончает свои поучения и начинает молиться. Поставленный рядом с ним молодой человек с сильным и звонким голосом певуче повторяет слова обращения к Всевышнему.

Все правоверные, стоя, поднимают руки на высоту лица, затем опускают их вдоль тела и, вместе с имамом и певчим произнеся «Аллаху Акбар!» — повергаются ниц...

По окончании молитвы я остаюсь еще с толбами и марабу, которые поют написанное стихами славословие Пророку.

«Молитва и покой да будут с тобою, о, Мохамед, Пророк Божий. Ты лучшее из созданий всегда и во веки веков, в этом мире и в будущем... Молитва и покой да будут с тобою, о, Мохамед-Мустафа, Пророк арабов, светильник тьмы, ключ правоверных, Мохамед-Корейхите, господин Мекки и Медины — цветник вселенной, повелитель мусульман и мусульманок всегда и во век веков...»

Марабу обладают прекрасными голосами и знают старинный напев, дающий особенную выразительность звучным стихам этого славословия, которое простой народ произносит обыкновенно, лишь слегка растягивая слова и выговаривая их в нос.

Конец. Все встают. Каждый забирает свои бабуши, стоявшие рядом на циновке опрокинутыми одна на другую, и направляется к выходу.

Еще раз нужно пройти через горнило долины, но у меня не хватает храбрости: я прошу Фараджи провести меня по лабиринту коридоров ксара, столь низких, что на протяжении ста шагов нужно идти согнувшись вдвое. Темнота в

этой трубе с неровною почвою — непроницаемая, воздух пропитан вековою сыростью погребов, и попасть сюда после голубого полусвета мечети — это настоящий кошмар...

Мне кажется, что самое главное в молитве, как и в мечте, это то, что ни та, ни другая не должны иметь конца.



## ТАЙНА СЕРДЦА

Тишина комнаты нарушается только слабым, постепенно угасающим пением воды в чайном котелке. Ба-Махмаду мечтает, сидя на ступеньках лестницы и глядя на наивные рисунки, украшающие собою дверь в глубине.

— Где-то она теперь, хозяйка этого дома! — произносит он вдруг со вздохом.

На мои расспросы суданец рассказывает мне, что этот дом принадлежит некоей Лелле-Хадудже, родственнице Сиди-Брахима. Оставшись молодой вдовой с двумя детьми, мальчиком и девочкою, весьма набожная Лелла-Хадуджа согласилась выйти вторично замуж за своего двоюродного брата, но под тем неременным условием, что после свадьбы они сейчас же отправятся в Мекку. Двоюродный брат исполнил свое обещание, и Лелла-Хадуджа уехала из зауьи, оставив здесь только своего сына.

— В тот день, когда она покидала Кенадзу, — говорит Ба-Махмаду, — все мы, слуги, провожали ее до источника Аин-эль-Шейха по дороге в Бехар. Оглянувшись со своего мула в последний раз на ксар, она сказала нам, что никогда больше не вернется сюда, потому что хочет жить и умереть на священной земле Геджаса... Зимою будет два года, как она покинула нас. За это время она прислала своему брату письмо с известием, что опоздала для паломничества в Джедду в прошлом году и будет ждать до нынешнего года в Бит-эль-Кодсе (Иерусалиме), после чего окончательно поселится в одном из этих священных городов... Да ниспошлет ей Господь Свою помощь и милосердие! Она была набожна и милостива ко всем нам, бедным невольникам!..

...В свою очередь, и я начинаю мечтать об этой неизвестной мне Лелле-Хадудже. Несомненно, она должна была иметь немножко смелую душу для того, чтобы по собственной воле порвать со всеми своими привычками тихой и беззаботной жизни в своем доме, идти в новые места и начать новое существование под иным небом.

Что произошло в сердце этой странствующей ныне женщины? Почему решилась она так внезапно покинуть свой родной ксар? Какая драма одинокого чувства разыгралась в ее душе? Драма, которую не напишет и не узнает никто...

— Вот она, жизнь! — заключил Ба-Махмаду. — Все знали Леллу-Хадуджу, все видели ее каждый день, просили у нее помощи, а теперь она далеко, далеко... и ее не увидишь никогда!..

Действительно, для неграмотного и темного суданца этот Бит-эль-Кодс, эти города Сирии и Аравии представляются не иначе, как на краю света. Они кажутся ему городами грез, существующими, пожалуй, в одном лишь воображении.

## ДИПЛОМАТЫ ПУСТЫНИ

Пять часов вечера. В пустыне сирокко подымает вихри пыли, но на большой галерее, выходящей во внутренний сад Сиди-Брахима, чувствуется лишь слабый ветерок, разгоняющий духоту накалившегося за день воздуха.

Здесь, на раскинутом под белыми арками дорогим рабатском ковре, полулежит Сиди-Брахим, облокотясь на расшитую шелками подушку. Смаин перебирает одно за другим зерна своих четок. Сидя у стены, Си-Мохамед-Ларедж высыпает на кусок красной шелковой материи два мешка почерневших в сыром погребе испанских дуру.

Перед ним, присев на корточки полукругом, расположились три вождя пастушьих племен дуи-мения, кочующих по уэду Гир.

Один из них, очень старый, с лицом, изборожденным глубокими морщинами и длинною седою бородою, одет в старый шерстяной хаик и вооружен кумией с медною рукоятю и такими же ножнами.

Другой, такого же возраста, прячет свое оружие под поношенным бурнусом и старается казаться величественным, что мало гармонирует с его угловатыми манерами и жадностью его лица.

Третьему, самому молодому и самому важному, лет тридцать пять. Он большого роста, мускулист и под тяжелым черным бурнусом носит белую одежду. Его кумия с позолоченной рукоятю висит на толстом шелковом шнуре. Кроме того, на нем отличный револьвер и красная кожаная сумка, расшитая золотом в Феце. Но сам он вошел на галерею босой, оставив свои кочевнические «наала» возле дверей.

Сильно загорелый, с быстрыми глазами и энергичным лицом, обрамленным густою черною бородою, шейх Амбарек был бы красив, если бы его волчьи зубы не выдавались слишком вперед, сообщая его выражению что-то жестокое и отталкивающее.

Амбарек очень честолюбив и жаден. Вчерашний грабитель, он начинает теперь готовить почву для сноше-

ния с французами, рассчитывая при их помощи сделаться главою всех племен дуи-мения и получить от христиан алый бурнус и ордена.

Сиди-Брахим хочет дать этим кочевническим шейхам поручение сделать большую закупку баранов на Гире, и по этому случаю Си-Мохамед-Ларедж отсчитывает деньги.

Кочевники инстинктивно приближаются к шелковому платку, жадно косясь на лежащие на нем дуру. Они считают их уже своими, ибо под видом покупки у других они продадут в зайую своих собственных баранов по возможно дорогой цене.

Они делают вид, что не умеют считать, и умышленно запутывают расчеты Си-Мохамеда.

Тогда Сиди-Брахим просит меня сделать расчет письменно.

Тростниковой палочкой я царапаю на колене так называемые индийские цифры, употребляемые арабами, для того, чтобы умеющий читать Амбарек мог проверить их.

Наконец, кочевники не находят никаких возражений против очевидности.

Старые скряги протягивают уже свои костлявые руки к деньгам. Но Амбарек не сказал еще последнего слова и останавливает их жестом.

— Сиди-Брахим, — говорит он с своею самою ласковою улыбкою, — счет верен. Для уплаты за баранов по нынешней цене нужно шестьсот пятьдесят дуру, и деньги лежат здесь. Конечно, мы слуги твои и твоего предка, Сиди-Бен-Бу-Циана, — да ниспошлет ему Господь свою милость! Но нам нужно будет искать баранов у наших братьев, рассеянных по всему течению Гира... Потом их нужно будет конвоировать сюда для того, чтобы улед-настры и берберы-хеббаха не захватили их. Все это мы возьмем на себя и по справедливости будем счастливы служить тебе. Тебе нечего бояться, если Всевышний хочет этого! Но мы бедные кочевники, разоренные войною, и, конечно, твое великодушие не забудет нас. Дай нам награду... за наши труды...

Сиди-Брахим улыбается. Си-Мохамед-Ларедж наклоняет голову, делаясь непроницаемым.

— А какую награду желаете вы?

— Дай нам двести французских франков, и Господь воздаст тебе за твою доброту.

— Молитесь Пророку, — говорит тогда Сиди-Брахим, — и проклинайте Иблиса, который становится между людьми и сеет между ними ненависть, который заставляет их предпочитать блага этого мира правде и совести! Если так, если ваши услуги должны покупаться столь дорогою ценою, то я предпочту послать на Гир моих рабов.

Долго еще спорят кочевники, но марабу не уступает перед их жадностью. В то время, как первые горячатся и даже возвышают голос, Сиди-Брахим и Си-Мохамед молчат. Они ждут.

Видя, наконец, бесполезность своих усилий, Амбарек и старики говорят с деланными улыбками:

— Сиди-Брахим, ты наш господин, мы не смеем оспаривать твое решение, потому что все, что ты делаешь, хорошо. Оставайся с миром и моли за нас Бога, Его Пророка — да будет ему молитва и покой! — и Сиди-М'хамеда-Бен-Бу-Циана, ибо завтра с зарею мы, конечно, отправимся на Гир.

— Идите с миром, дети мои. Да сохранит вас Господь и направит по истинному пути.

Шейхи встают, бренча орудием, и еще раз с сожалением взглядывают на соблазнительные дуры, которые Си-Мохамед-Ларедж со звоном сыплет обратно в мешок.



## НЕГРИТЕНОК

С некоторого времени мне прислуживает негритенок Месауд. Ему четырнадцать лет. Большой для своего возраста, он носит белую рубашку с шерстяным поясом, а на выбритой голове пучок курчавых волос — двойной знак несовершеннолетия и рабства. Свешиваясь над правым ухом, это странное украшение придает подвижной и хитрой физиономии негритенка нечто комическое и обезьянье. За неимением кольца, Месауд в проколотую мочку уха продел свернутую синюю бумагу.

Ловкий, как кошка, вороватый, лгун и болтливый, как все негры, — он представляет собою тип плутоватого маленького раба.

Когда я посылаю его купить мне табак у еврея, Месауд мчится во весь дух, но, возвращаясь, обманывает меня на сдаче. Он видит, что я ничего не понимаю в монетной системе Марокко, и пользуется моим невежеством.

Когда я упрекаю его за мошенничество, он делает печальную физиономию, клянется, а затем начинает громко смеяться, как будто бы мои упреки казались ему очень смешными.

За чашку мятного чая он сделает все, что угодно. В то же время, он ленив до невероятия и, когда не хочет, то делает вид, что не слышит приказаний. Он в лицо насмехается над взрослыми рабами и безнаказанно язвит всех.

Ба-Махмаду, ключарь, смотрит на Месауда с ужасом:

— Это чума, дитя греха, несчастье!

Он делает сердитые глаза, чтобы напугать Месауда, но тот смеется и убегает.

Когда негритенок хочет получить что-нибудь, он становится покорным, ласковым, пускает даже в ход грацию, жеманство и надоедает своею предупредительностью. Но все это прекращается в один миг, раз он получает желаемое. Лакомка и обжора, он лижет блюда и целый день грызет ворованный сахар.

Месауд не любит никого, даже своего отца, работающего в садах Сиди-Брахима. Когда старик отваживается иногда прийти во двор, Месауд гонит его вон с тем презрением, которое выказывает обыкновенно хорошо поставленный в доме слуга к крестьянину.

На все мои упреки по этому поводу маленький бездельник отвечает с гримасою:

— Он грязный! Он пахнет навозом! Он вшивый!

Со всеми марабу Месауд почтителен лишь настолько, чтобы не получить по затылку. На их брань он показывает им за спиною язык.

Маленькое животное, полное грации и порока, демон семьи, ненавидимый чужими, этот негритенок объяснил мне многое в белых детях.

## АРАБСКАЯ ТЕОКРАТИЯ

Вековое влияние арабских марабу внесло глубокую перемену в учреждения и нравы жителей Кенадзы.

У всех остальных берберов верховная власть в каждом племени принадлежит «джемаа», т. е. собранию представителей отдельных родов. Это собрание решает все вопросы политического и административного характера. Оно избирает главу племени, и до тех пор, пока последний остается у власти, все племя подчиняется ему беспрекословно, но в своих действиях он обязан отчетом пред джемаа.

Берберские собрания обыкновенно весьма шумны. Страсти на них разыгрываются иногда до кровопролития, и тем не менее берберы сильно дорожат своим выборным началом.

В Кенадзе теократический дух арабов восторжествовал над республиканским духом берберов.

Единственным наследственным владетелем ксара является здесь глава зауйи. В случае войны он назначает предводителей. Он разбирает уголовные дела и является высшею инстанцией при решении дел гражданских, подлежащих ведению кади.

Сиди-Мохамед-Бен-Бу-Циан, основавший братство, хотел сделать из своих последователей общество мирное и гостеприимное.

Зауйя и земля, принадлежащая ей, играли при нем роль убежища: каждый преступник, укrywшийся здесь, находился вне досягаемости суда человеческого. Если это был вор, марабу приказывал ему вернуть украденное. Убийца должен был заплатить за пролитую кровь.

Потомки Сиди-Мохамеда-Бен-Бу-Циана начали строже относиться к ворам и зачинщикам скандалов как между свободными жителями, так и рабами. Виновные в обоих этих преступлениях наказываются палками.

Существует обычай, что во время исполнения приговора один из присутствующих встает и просит помилования осужденному. Марабу уступает обыкновенно таким просьбам.

Влияние марабу было настолько сильно, что берберы и харатины обабрабились до потери собственного языка. Нравы их смягчились. Ссоры и кровавые расправы сделались более редкими, ибо простой народ привык находить в решении марабу справедливость.

Но с тех пор, как марабу начали поддерживать добрососедские отношения с французами, сами они впали в подозрение у народа.

Пока никто не смеет высказать этого громко. Все повторяют мысли и слова Сиди-Брахима, но если бы не личные моральные качества последнего, то, вероятно, ему не раз бросили бы вслед — «м'цана!»

Какова-то будущность Кенадзы, и что станет через несколько лет с этим маленьким государством, столь оригинальным и столь замкнутым?

## НА ПОЛЯХ ПИСЬМА

Сейчас середина лета, но счет дням я потеряла. Я больна лихорадкой с чередующимися в ее промежутки приливами то тоски, то радости, то еще какого-то мучительного чувства.

Вчера я получила письмо, выкупавшееся в свете совсем иного солнца, чем то, которое и поддерживает и подтачивает мои силы. Боже, как легко сделаться эгоистом. Достаточно почувствовать на себе улыбку новых глаз — и мы спешим сообщить эту радость своим старым друзьям...

Когда я возвращусь в Алжир, где мое сердце, как гонимый бурею парусник, натолкнулось на камень и залилось волнами нестерпимого горя, — с кем, а главное, о чем буду говорить я?

Женщины не могут понять меня; они считают меня странным существом. Я слишком проста для их вкусов, увлекающихся искусственностью и искусством. Им нравится бесконечная комедия на один и тот же сюжет, которую они играют каждый день. Они не допускают при этом даже перемены костюма.

Когда женщина перестанет быть игрушкой мужчины и сделается товарищем его, она начнет новое существование. В ожидании этой перемены ее учат дышать в размер и такт вальса.

Говорят, будто вырастает новое поколение и некоторые молодые девушки начинают говорить не одними только глазами, не впадая для этого в болтовню о равноправии и социальном переустройстве. Но я не верю этому и думаю, что это еще один из обманов воспитания, который не устоит перед всемогуществом тона гостиных.

Да и каких, если сказать правду, мужей найдут эти искренние души? Сами мужчины, особенно в провинции, — ведь это одни только любители юбок! Женщина может быть всем, чем угодно, но я до сих пор не видела, чтобы мужчина старался сделать из нее что-нибудь, выходящее из границ моды. Рабу или божество — вот что они могут любить,

а никак не равную себе.

Я набросала эти мысли на полях письма, пришедшего ко мне с далекого Севера и обдавшего меня струею холодной и жестокой беззаботности. После него меня еще сильнее засосала тоска изгнания, и мне захотелось уйти еще далее в глубь неприязненного мне юга. Меня не тянет в Париж, который я узнала хорошо и где словесный феминизм был мне еще менее симпатичен, чем кокетство инстинкта.

Я не написала в своем ответе ничего, что стоило бы труда быть прочитанным... Зачем?

В тот день, когда разошлись наши дороги, обособились и наши судьбы. Нам делают честь, приглашая разделить их чуждое нам чувство... Спасибо! — Но больше говорить нам не о чем.

## УЖИН В САДУ

Зная о моем недомогании и желая развлечь меня, Сиди-Брахим прислал мне приглашение отужинать на открытом воздухе в саду зауйи. Посольская миссия возложена была на Си-Абдель-Уахаба, одного ученого, прибывшего с Востока с намерением поселиться в Кенадзе.

Я часто люблюсь тем, как самые маленькие вещи получают здесь полноту и благородство. Непринужденность и нестеснительность — это чисто европейские качества, делающая жизнь более легкою. Но когда вы привыкнете к вольности народа, вам становится трудным принимать всерьез тот особый вид, который в известные дни и при известных обстоятельствах напускают на себя люди, самые вульгарные, самые неспособные к деликатности. Вся их учтивость кажется ложною, точно они нарядили свои слова в сильно жмущие под мышками воскресные одежды.

Здесь, наоборот, вежливость составляет как бы неотъемлемую принадлежность каждой личности. Она гармонирует одинаково и с праздничным и с будничным костюмом, в ней нет ни приторности, ни пересола, и она нравится.

Приглашение Сиди-Брахима поразило меня своею неожиданностью.

Прежде всего, ни в Европе, ни в алжирском Телле никто не подумал бы устраивать пикник в подобную погоду. Небо имеет грозный вид. Сине-багровые тучи, толпясь, разрываясь на части и клубясь одна вокруг другой, бегут по всем направлениям. Буйные ветры гоняют их в вышине и, занятые своею игрою; не спускаются на землю, где царит полная тишина и верхушки финиковых пальм кажутся застывшими в воздухе.

Но вот крупные теплые капли начинают падать с неба. О, какое счастье! В этой пустыне, вечно горящей неутолимою жаждою, задернутое тучами небо и немного влаги в воздухе заставляют распускаться саму душу.

После десяти дней болезни, проведенных мною лежа на циновке, я еле волочу ноги. Однако, я принимаю пригла-

шение.

Сад Сиди-Брахима расположен у подножия высоких домов ксара, на покатом склоне. Дикий виноград карабкается по стволам финиковых пальм и путается между серыми ветвями смоковниц. Две молодые ручные газели играют под листвою, гоняясь друг за дружкой и перескакивая через поросшие мятою сегии.

На верхней террасе разостланы ковры.

Вокруг Сиди-Брахима, облокотившегося на подушку, расположились некоторые из родственников и близких друзей.

Вот талеб Ахмед, ходжа, т. е. секретарь зауйи. Высокого роста, с заметным приливом негрской крови под лоснящеюся кожею, он производит впечатление человека умного и наблюдательного.

Его предшественник Си-Мохамед, чистокровный бербер с широким и бледным лицом и редкою русою бородою, был одно время в опале. Но его присутствие в числе приглашенных показывает, что он снова входит в милость.

Сиди-Мохамед-Ларедж, полулежа, задумчиво перебирает пальцами арабески ковра. Судя по устремленным куда-то вдаль глазам и блуждающей на губах улыбке, этот мечтатель и артист по натуре отсутствует сейчас где-то далеко и смотрит на что-то сквозь розовые очки.

Совсем иное впечатление производит Сиди-Амбарек, дядя Сиди-Брахима со стороны матери. В тонких чертах его бронзового лица и во взгляде читаются страсти, не любящие ожиданий, быстрая решимость и наивная гордость декоративного араба, созданного для парадов и декораций, — тип, хорошо известный в Алжире, в передних бюро и на террасах кафе. Это буйная голова во всей семье; у него было много приключений, очень похожих одно на другое...

В саду рабы готовят маленькие и низкие столики и блюда, покрытые высокими соломенными колпаками, выкрашенными в яркую краску.

Само собой разумеется, что разговор вертится вокруг событий в Марокко, Тафилала; вспоминаются ненавистные имена Бу-Хамары и Бу-Амамы.

Но сегодня Сиди-Брахим не получил дурных вестей, а



потому все веселы. Смеются, рассказывают анекдоты с тою безупречною опрятностью языка, какую соблюдают родовитые мусульмане, особенно между близкими.

Среди финиковых пальм, с которых дождь смыл пыльный налет и которые синеют под мрачным небом, веселый народ ласточек носится взад и вперед с звонким щебетанием и криками.

— Вот оно, ласточье джемаа (собрание), — говорит талеб Ахмед. — Они слетаются сюда для того, чтобы решать дела своего племени. Эти маленькие существа, немногим больше мухи, шумят не хуже ста дуи-мения, говорящих все в одно время.

Степенные марабу смеются над этой удачною шуткой над их беспокойными соседями.

Ручные газели приближаются к гостям, играют с ними, делая вид, что хотят ударить головою и затем быстро бросаясь назад.

После ужина — чай, вечный чай, который с торжественными жестами начинает готовить Сиди-Амбарек, так как эту церемонию может выполнять только мужчина и при том свободный.

С наступлением сумерек мы подымаемся, ибо приближается время вечерней молитвы.

В тени ксара марабу с медленными поклонами расходятся в разные стороны.

Унося с собою воспоминания об этом восточном ужине на террасе сада, я думаю о длинном ряде поколений марабу Кенадзы, которые приходили сюда в пасмурные дни.

Все это были одни и те же удовольствия, одни и те же ощущения, одни и те же слова...

## МЯТЕЖНИЦА

Сегодня, после пятничной молитвы, я нахожу весь ксар в волнении: повесилась молодая женщина, белая мусульманка.

Я смешиваюсь с толпою, собравшеюся у дома покойной, откуда доносится громкий плач и причитания женщин.

Я навожу справки, стараюсь представить в своем воображении драму и проникнуть в ее причины... Она не ладила со своими родными, говорят мне, ей некому было пожаловаться; ее муж Хамму-Хасин не слушался ее. Он хотел укротить ее побоями.

Много раз убегала она к брату, но тот снова возвращал ее к мужу. Ей мешали идти и просить защиты у кади или у Сиди-Брахима. Она была раба, более раба, чем негрityнки, потому что она страдала от своего рабства.

Наконец, после долгих протестов маленькая дикая бедуинка затихла. Все решили, что она смирилась, не зная того, что в нее влилось новое странное и сильное чувство моральной свободы.

В один вечер, когда все были в мечети, она собрала свои силы для побега. Она встала на свои маленькие ножки, закинула шелковый пояс и поднялась на нем выше условий своей тяжелой и унижительной жизни. Она не проронила на прощанье никому ни единого слова.

Народ с ужасом отвернулся от той, которая забыла долг жизни. Но ученые сжалились над Амбаркою и приходят молиться у ее тела, которое старухи обмыли и зашили в уравнивающий всех мусульманский саван.

Застывший труп лежит на циновке посреди двора.

Плач женщин прекратился. С их уходом во дворе наступила торжественная тишина. Слышатся только печальные голоса мужчин, нараспев читающих главу Корана «Я-син» с молитвами по усопшем.

Голоса повышаются и переходят в грустное пение — это поют погребальную песнь — «Борда».

Покойницу кладут на похоронные носилки из неотесанных жердей и покрывают большим красным покрывалом. Несколько минут сосредоточенного молчания. Затем четыре человека поднимают носилки на плечи, и печальная процессия направляется к кладбищу.

Здесь носилки ставят на песок, и все присутствующие становятся полукругом лицом к Мекке, чтобы совершить последнюю молитву за Амбарку.

На могильный холмик, который ветер начинает уже разносить по песчинкам, сажают три пальмы; они засохнут к вечеру этого же дня.

Грубый и некрасивый Хамму-Хасин расстилает на землю красный ситцевый платок и кладет на него сушеные фиги и пресные лепешки, — это «садака», подаяние бедным в память усопшей, заменяющее собою венки и букеты.

Вот и конец. Мы расходимся в разные стороны.

Старые ученые не провожали самоубийцу. Только молодые студенты молились за нее, потому что молодость сердцем угадывает то, что большая часть людей забывает в зрелые годы.

Как редко те, у кого душа перерастает тело! Обыкновенно такой рост останавливается очень рано.

Во время погребения один из присутствовавших сказал мне: «Она была несчастна!» Вероятно, он не знал, что такое несчастье. Когда люди поняли, что значит страдание, они становятся жестокими. Они не сожалеют, а осуждают. Однако, мне кажется, что от поры до времени сердце все же должно открываться.

Были ученые, которые не переставали обогащать себя знаниями до последних дней. Почему же то, что возможно для ума, невозможно для чувства? С тех пор, как я живу в этой заулье, под сенью ислама, с тех пор, как я страдаю лихорадкой и по своей доброй воле живу одиноко, — я с ужасом вспоминаю некоторые часы моего бурного прошлого, и мои чувства становятся более утонченными. После этого одиночества, если я вернусь к жизни, которая уходит, я пойму любовь и лучше и глубже.

## СУДАНСКИЙ ПРАЗДНИК

Четыре часа пополудни. Сирокко утихает, наконец, переходя в слабый восточный ветерок. Становится легче дышать. С разных сторон слышится скрип и хлопанье дверей. Ксурийцы и марабу показываются на улице, покрытой слоем нанесенной ветром пыли. Серые тучи последней тянутся еще по горизонту.

В ксаре подымается какой-то странный гул и лязг, медленно приближающиеся к зауйе. Это идут суданские музыканты, колотя в свои длинные, боченкообразные барабаны и звеня двойными медными кастаньетами, привязанными к рукам ремешками.

Впереди музыкантов плясуны, изощряющиеся в самых невероятных телодвижениях.

Мне кажется, что во всех танцах с подпрыгиваниями есть что-то негритянское, подсказываемое простым желанием размять и протрясти тело. Только арабский, или так назыв. танец живота, с его медленными, полными особого смысла движениями, есть что-то таинственное и священное, придуманное метафизическим Востоком.

За шумливыми музыкантами движется толпа рабов, поющих страшно заунывную песню, прерываемую крикливыми и однотонными припевами.

Туча детей жужжит, точно рой мух. Здесь и смешные от природы негритята с их пучками волос, приклеенными к гладко выбритым и лоснящимся черепам, одетые в грязные коротенькие рубашки, и белые арабчата, сыновья марабу, в цветных гандурах, похожие по длинным, падающим на плечи косичкам на китайчат. Все это смеется, хохочет и пляшет вокруг торжественно настроенных суданцев, смутно припоминающих, что на их далекой родине сегодняшний праздник представляет собою священный обряд.

У зауйи музыканты останавливаются, снимают свои сандалии, чтобы подойти и поцеловать одежды марабу. Затем они опять становятся полукругом и возобновляют свою музыку.

Два плясуна выступают на середину полукруга, поворачиваются лицом один к другому и начинают пляску с прыжками и приседаниями. Они неистово колотят землю ногами, гримасничают, вскидывают руки вверх, хлопая розовыми ладонями одна о другую.

Дикая негритянская кровь пробуждается в них, ударяет в голову и заставляет забыть всю сдержанность, наложенную рабством. Они снова делаются самими собою — дикими и наивными, детьми и варварами, жадными к игре и упивающимися временною свободою.

В особенности беснуется один из танцоров — и это почти старик с костлявым лицом, длинными желтыми зубами и полупомешанными глазами.

Я с живым интересом смотрю на этот балет, на эту простую обстановку, на темный фон глинобитной стены, которую заходящее солнце начинает перекрашивать в розоватый цвет.

Сделав последний прыжок, изнемогшие танцоры падают вдруг на землю. После нескольких секунд полной неподвижности, они приподымаются и с трудом садятся на корточки, обратясь лицом к Сиди-Брахиму.

Сильный звериный запах распространяется от их покrywав, пропитанных потом, обильно струящимся и по их телам, кажущимся еще более черными.

Все руки поднимаются в уровень с лицом, с ладонями, раскрытыми точно книги.

Сиди-Брахим читает первую главу Корана — «Фатиха».

Затем он призывает благословение Аллаха и Сиди-М'хамеда-Бен-Бу-Циана на чернокожих, на всех присутствующих, на жителей территории Кенадзы, на всех циания, на всех мусульман и мусульманок, как живых, так и умерших.

Наконец, с трогательным вниманием марабу читает молитву о защите и помощи во все времена и во всех местах слуге Всевышнего и Его пророка, — Си-Мохамеду-улд-Али, алжирскому путешественнику... Я кланяюсь.

## В НОЧНОЙ ТИШИ

Сумерки. Глиняные стены дома выделяют накопленную ими за день теплоту. В комнате жара духовой печи. Но на дворе, где быстро опускающаяся южная ночь взмахами своих черных крыльев навевает освежительную прохладу, дышится удивительно легко.

В истоме неги и лени лежу я, вытянувшись на спине. Мой взгляд утонул в беспредельности еще фиолетового неба, а до моего слуха доносятся последние звуки постепенно затихающего шума жизни: скрип и тяжелое буханье запираемых ворот, ржание лошадей, блеяние овец, печальный, как плач, рев маленьких африканских осликов, визгливые вскрикивания негритянок...

Ближе, во дворе, под аккомпанемент тамбурина и гитары чей-то сдавленный голос клянется в любви...

На террасах служебных домов слышится топот босых ног, шуршание расстилаемых циновок, ковров и мешков. Там тихо ссорятся, вздыхают, шепчут молитвы.

Кенадза мало-помалу погружается в сон.

Часов около одиннадцати ночи на стене одного из домов предместья появляется полоса красноватого света, и на ней, как на экране волшебного фонаря, показываются странные тени. Они то медленно переходят с места на место, то раскачиваются, то мелькают с головокружительной быстротою.

Это аисау — братья секты иллюминатов — совершают свое ночное бдение.

В глухую полночь собираются они в свою молельню и сначала заунывно поют, подыгрывая себе на тамбуринах и визгливой рхаите. Затем подходят к жаровням и, раскачиваясь над ними, вдыхают опьяняющий аромат бензоа и мирры. С каждой минутой глаза их становятся все более и более безумными, а движения быстрыми. От раскачиваний они переходят к прыжкам, от прыжков к сумасшедшей пляске. Этим путем они ищут забвения в жизни.

Но вот исчезла и полоса красного света. Ночь, томительная южная ночь с ее ласкающей теплотой и дразнящими пряными запахами кружит мне голову. Она будит кровь и гонит ее к вискам...

На соседней террасе я слышу чей-то шепот, чье-то порывистое дыхание. Я догадываюсь...

Это после грустных азиатских песен иллюминатов, славивших блаженство небытия, начинается бессознательный гимн любви.

Вся помертвевшая от нахлынувшего на меня чувства, я, как помешанная, протягиваю в темноте руки... Но — я одна!.. одна!.. Те уста, которые опьяняли меня своими поцелуями, теперь далеко-далеко и, может быть, в эту самую минуту пьют дыхание другой... О, какая тоска! какой ужас!..

Судорожные рыдания подступают мне к горлу. Я зажимаю уши и поворачиваюсь лицом в подушку...

Через минуту я овладеваю собою. Мне становится стыдно самой себя, стыдно моей необузданной страсти. Еще мокрыми от слез глазами я снова смотрю на агатовое небо и стараюсь думать, что только там, среди этих мерцающих голубым светом звезд, есть вечное, ничем не омрачаемое счастье. Но переполнившееся кровью сердце все еще больно стучит во мне, точно желая сказать: «Что вечность, если я не могу забыть нескольких минут, так чудно прожитых и так прекрасно потерянных!..»

## У СТУДЕНТОВ

Сегодня под вечер раб Фараджи входит ко мне с видом заговорщика и весьма таинственно докладывает, что Си-Эль-Мадани, брат Си-Мохамеда-Лареджа, и некоторые из его товарищей, студентов большой мечети, просят меня к себе на чай.

Эта странная форма приглашения заставляет меня припомнить те отвратительные оргии, которые приписывает мароккским студентам Мулиера в его книге «*Le Magoc inconnu*»<sup>1</sup>.

Но, подумав немного, я все же соглашаюсь.

Мы идем сначала через пустые конюшни и словно вымершие дворы со старыми, доживающими свой век деревьями. Затем вступаем в лабиринт грязных и сырых коридоров, загроможденных камнями и обломками. Наконец, неожиданно для меня, выходим на чистенький дворик с белыми стенами и такого же цвета арками, ведущими в обширное здание.

Перегнувшись снаружи через белую стену дворика и точно облокотясь на галерею здания, тихо покачивает своею головою финиковая пальма. Дикий виноград, вскарабкавшись по стене и дружески обняв ствол пальмы, снова падает вниз гирляндами листьев и дождем зарождающихся ягод.

Си-Эль-Мадани и его товарищи встречают меня на этом дворике и приветствуют с изысканною вежливостью.

Все эти молодые люди — сыновья марабу или оседлых жителей Кенадзы. Худенькие, щедушные, они точно поблекли в густой тени оазиса.

Среди них резко выделяется своею фигурою Си-Абд-Эль-Джебар, кочевник из племени хамиан-мехерия. Этот сын пограничных воинов на целую голову выше своих товарищей, оседлых дегенератов. Здоровый, мускулистый, с сильно загорелым лицом и смелым взглядом, он держится с тою

---

<sup>1</sup> «Неведомое Маррокко» (фр.) (Прим. ред.).



горделивою осанкою, которая является одним из первых условий мужской красоты.

Через резные двустворчатые двери мои хозяева вводят меня в огромный старинный зал с двумя рядами тонких колонн, украшенных прелестными кружевами арабесок, высеченных из молочного камня. Небольшие слуховые окна, открывающиеся в куполе здания, льют палевый свет на зеленый фаянс, облицовывающий стены на высоту человеческого роста.

Низенькая каменная ступенька ведет во вторую, несколько приподнятую половину зала, устланную рабатскими коврами и белыми шерстяными матрацами.

Под черными балками потолка, перевитыми выкрашенным в красный и зеленый цвет камышом, вдоль стен идет крупная надпись киноварью «эль афия эль бакия», т. е. «вечное здоровье».

В маленьких нишах, на этажерках и на больших сундуках с потемневшею позолотою лежат груды самых разнообразных предметов — арабские книги, кухонная посуда, одежды, принадлежности седловки, оружие, музыкальные инструменты и т. д. и т. д.

Я сажусь у решетчатого окна, выходящего на развалины каких-то больших и в свое время служивших кому-то жилищем зданий.

Фараджи и его брат Хадду зажигают во дворе костер из сухих пальм.

Си-Эль-Мадани, помимо моей просьбы, начинает объяснять мне причины, почему негр передал мне приглашение в столь таинственной форме.

— Ты знаешь, Си-Махмуд, что обычай и приличие требуют того, чтобы наши родители и наши старшие не знали или, по крайней мере, могли делать вид, что ничего не знают о наших развлечениях. Мы собираемся здесь, чтобы провести несколько часов, веселя наши сердца музыкою, чтением вслух произведений наших классиков и дружескою беседой. О том, что происходит здесь, не должен знать никто, кроме Бога и нас... Иначе, как бы ни были невинны наши удовольствия, нам будет страшно стыдно, и мы подвергнемся весь-

ма серьезным упрекам. Вот почему я избрал это помещение, единственное из всех построек, унаследованных мною от моего предка Сиди-Бу-Медина, еще кое-как сохранившее свой обитаемый вид. Сюда никто не приходит для того, чтобы председательствовать на наших собраниях и преподавать нам советы.

Собрание проходит в разговорах. Для того, чтобы сильнее подчеркнуть непринужденность таких бесед, один из ученых мусульман, после наших взаимных представлений, снова взял в руки свою работу и начал подбирать шелк к белой гандуре, которую он вышивал нежными рисунками.

Между мароккскими студентами такие работы по вышиванию тканей в большом почете. Они служат доказательством вкуса, и ими не стыдно заниматься даже на виду у всех.

Эль-Мадани берет трехструнную гитару и начинает напевать старинную андалузскую песенку. Его двоюродный брат Мулей-Идрис, болезненный юноша с желтым лицом, тихонько аккомпанирует ему на тамбурине. Но на красавца Хамиана Абд-Эль-Джебара музыка нагоняет зевоту. Улегшись во всю длину на ковре, он потягивается и расправляет свои сухие мускулы наездника, которого бездействие томит.

Я, в свою очередь, начинаю думать о том, что именно представляет собою жизнь этих мусульманских студентов.

С одной стороны — долгие годы занятий схоластическими науками в голых стенах полутемной мечети и подвиги благочестия, доходящие у большинства молодежи, числящейся уже членами тайных обществ, до ежедневного экстаза; а с другой — наивная веселость и молодая страсть, толкающая их на сложные и опасные приключения. Почти монастырская жизнь их весьма сильно благоприятствует развитию извращенности, и таковая действительно существует.

Но в один прекрасный день, всецело подчиняясь родительской власти, мароккский студент женится, и тогда в его жизни наступает перемена. Вместе с мечтами и науками он кладет на полку забвения и свою кошачью мораль студенческих лет. Вступая в общество, он перенимает коррект-

ные манеры людей своего круга и надевает на свое лицо маску внушительности и бесстрастия.

Достаточно иногда нескольких месяцев, чтобы такая перемена начала проникать в самую глубь характера молодых мусульманских ученых. Сделавшись марабу или же занимаясь другими делами, они, как люди высшего сословия, начинают заседать в джемаа, решать общественные вопросы, отправляются в путешествия по мусульманским странам и т. д.

Когда же впоследствии нынешние студенты, певцы и декламаторы стихов, сами окажутся в положении отцов своих достигших учебного возраста детей, — они беспощадно будут подвергать их тем же ограничениям, на которые жалуются теперь в своих интимных беседах. А их сыновья, в свою очередь, будут сходиться для запретных развлечений, если не в этом, то в еще менее уцелевшем здании...

Время идет незаметно. Убаюкиваемая грустными звуками старинных инструментов, я смотрю на ползущие по стенам красные буквы религиозного изречения. При изменяющемся свете дня их арабески все более и более погружаются в тень. Вот так, кажется мне, и при закатывающемся солнце ислама уходит в темноту вечности и освещавшийся им мусульманский мир. Без стонов, без конвульсий, даже без содроганий растает он с когда-то бурною жизнью. Его агония будет длиться еще долгое время, но конец ее известен.

## ЧУДО ПУСТЫНИ

Последние дни обитатели зауйи и ксара находились в сильном горе. Шайка арабов и берберов Аит-Хехбаша совершила набег на пастбища Кенадзы и утнала большое стадо животных. На добровольное возвращение его никто не считывал. Это было бы чудом, на которое разбойники пустыни мало способны.

Но вот сегодня, сидя перед закатом солнца на террасе, я слышу вдруг пронзительный, полный недоумения и радости крик: «Харраг! Харраг!»

В ту же минуту, точно по набатному колоколу, уже собиравшиеся ко сну жители ксара, мужчины, женщины и дети, не обращая внимания на свой костюм, высыпают на улицу, всматриваются в пустыню и затем с взволнованными и радостными лицами толпами бегут к зауйе, где рабы, в свою очередь, успели уже доложить о событии совершавшему вечернюю молитву марабу.

В это время с западной стороны пустыни к зауйе все ближе и ближе подвигается облако пыли, из которого слышатся самые разнообразные голоса почуявших дом животных. Считавшийся погибшим харраг действительно возвращался.

Это чудо совершилось благодаря одному из братьев ордена Циания, Мулею-Ахмеду.

Захватив скот у Кенадзы, разбойники утнали его на запад, в район, подведомственный Мулею-Ахмеду. Последний сейчас же пригласил к себе главарей шайки и начал доказывать им, какой смертельный грех взяли они на свою душу. «Вы не только осквернили священную землю зауйи, — говорил им красноречивый Мулей-Ахмед, — но вы ограбили имущество, принадлежащее бедным, сиротам и путешественникам. Если вы хотите, чтобы Господь и Сиди-М'хамед Бен-Бу-Циан оказали вам свою милость, немедленно возвратите ограбленное».

Разбойники поколебались некоторое время, а затем, выбрав из своей среды бербера Эль-Хасани, поручили ему от-

вести харраг в Кенадзу и испросить у Сиди-Брахима прощение всем участникам грабежа.

Я хочу присутствовать при сцене этого прощения и поэтому спускаюсь вниз вслед за марабу.

Черные козы наполнили уже двор. Обезумев, они толпятся, скачут друг на друга, спасаясь даже в лошадиные кормушки. Три сильно вооруженных пеших раба погоняют их.

Сам Эль-Хасани, подъехав на худой серой лошади, сошел с нее у главных ворот.

Сиди-Брахим, опираясь на плечо маленького Месауда, медленно и с трудом пробирается через толпящихся животных.

— Привет вам, сыновья мои! Да вознаградит вас Всевышний за доброе дело, которое вы только что совершили!

Взволнованные этими словами разбойники набожно целуют одежды и руки марабу, который в свою очередь обнимает и целует их...

Чудная, но точно уже виденная где-то картина!

## НЕВОЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛИ

Я возвращалась с прогулки к солончакам по дороге из Бу-Дниба. Моими спутниками были кочевник Маамар-улд-Каддур и один наездник из Бехара, прибывшие в Кенадзу в качестве паломников. Душная лунная ночь наполняла сон садов тяжелой истомой. Легкий шорох, как счастливый вздох побежденной женщины, слышался иногда в тишине. Это жизнь прорывалась через поры земли и растений.

Мы ехали молча, и наши лошади бесшумно ступали по мягкому песку. В одной узенькой улице, между двумя глиняными стенами, они остановились сами собою, чтобы напиться воды из сегии.

В эту минуту наездник коснулся моего плеча и показал головою в сад, где под пальмою, совсем близко друг к другу, стояли кочевник и ксурианка.

По высокому алжирскому тюрбану я сейчас же узнала Абд-эль-Джебара, одного из студентов большой мечети.

Крепко сжимая своими сильными руками маленькие и хрупкие кулачки ксурианки, он задыхающимся шепотом говорил ей: «Я брат твой... Во имя любви к Богу, будь моею!»

Она была красива и одета, как замужняя. Длинная туника из красной шерсти ясно обрисовывала формы ее упругого и чувственного тела. Небольшая головка украшена была диадемою из блестящих при лунном свете серебряных цветов. Ее лоб был так чист, что, казалось, сами звезды оплакивали ее...

Она отважно отправилась на свидание в эту тихую и полную всяких козней ночь. А теперь она дрожала и молила пощады у красивого кочевника, сына чужого племени, дикий пыл которого пугал ее...

Но мольба была бесполезна. Тяжело дыша и впившись глазами в свою жертву, разъяренный Абд-эль-Джебар обхватил вдруг трепетавшее тело ксурианки и поднял его от земли. Она вытянулась, откинула голову и хотела крикнуть. Но жадные губы номада зажали ей рот, и...

В этот момент Маамар сильно толкнул свою лошадь, которая взвилась на дыбы, и с сдавленным смехом говорит мне:

«Оставь их! Мы, арабы, умеем любить. Мы не дорожим своею жизнью ради женщин, но когда в глухую ночь мы ловим их, как охотник газель, наши руки прижимают их к нашей груди так, что после этого никакие ласки обабившихся оседлых не заставят их забыть поцелуй кочевника...»



## ИСКАТЕЛИ ЗАБВЕНИЯ

В этом ксаре, где нет даже арабской кофейни и где, кроме базарной площади и земляных скамеек у стен, люди не имеют ни одного места сборища, я отыскала курильню кифа.

Она находится за еврейским кварталом в полуразрушенном доме и представляет собою длинный зал, освещаемый единственным «глазом» в середине закоптелого потолка. Черные стены зала испещрены многочисленными трещинами. На редко подметаемом земляном полу валяются гранатовые корки и другие отбросы.

В углу разостлана чистая циновка с несколькими комкаными подушками. На циновке большой, ярко расписанный арабский сундук, служащий столом. На нем розовое деревце, осыпанное мелкими бледными цветками, и букет садовой травы в глиняном, украшенном геометрическими фигурами кувшине. Кроме, того медный куб, два или три чайника, корзинка из пальмовых листьев с сушеною индийскою коноплею и, наконец, на жердочке большой, привязанный за лапу коршун. Вот и вся роскошь обстановки клуба курильщиков.

Само помещение клуба не принадлежит, по-видимому, никому и служит притоном для кочевников, мароккских бродяг и вообще всякого народа с недовольным выражением лица и кому ночь нередко бывает дурным советником. Но такие гости не допускаются к участию в курении. Некоторое исключение делается лишь для посещающих клуб путешественников. Это объясняется тем, что, будучи сами путешественниками, разносящими по мусульманским странам свои большие грезы, поклонники отравляющего их мозг дыма принадлежат к высшему классу ученых и образуют строго замкнутый кружок, не принимающий к себе разночинцев.

Вот, например, какие люди сошлись в курильне в тот день, когда я посетила ее.

Хадж-Идрис, высокий и худой уроженец Филали с кротким лицом, точно освещенным внутренним светом. Не пус-



тивший никаких корней ни в семье, ни в труде, он является одним из тех перекасти-поле, которыми так богаты все мусульманские земли. Уже двадцать пять лет бродит он из города в город, то работая, то попрошайничая, смотря по обстоятельствам. Он играет на гумбри, т. е. на маленькой арабской гитаре, состоящей из двух струн, натянутых на черепаший щит, и довольно недурно поет старинные андалузские романсы.

Си-Мохамед-Бехаури, марокканец из Мекинеца, еще молодой человек с бледным лицом и ласковыми глазами. Он поэт и странствует по Марокко и южной части Алжира в поисках за народными легендами и арабскою литературою. Во время этих переходов он добывает средства к жизни тем, что сочиняет и декламирует любовные стихи.

Третий — маленький и сухой человечек, уроженец Джебель-Церхауна. Врач и кудесник по профессии, он много лет бродил по Судану, ходил с караванами от сенегальского берега в Тимбукту, а теперь путешествует в поисках за трудами мароккских чернокнижников.

Случай свел их в Кенадзе, а общность вкусов помогла встретиться в этом грязном притоне.

Завтра они разойдутся в разные стороны, беззаботно шагая каждый по заранее указанному судьбою пути. И это будет завтра. Сегодня же они заняты другим делом. Украсив свои тюрбаны ветками пахучей базилики, они сидят на корточках на своей циновке вдоль стены и курят свои маленькие трубочки из красной глины, наполненные индийскою коноплею и мароккским табаком, стертыми в порошок.

Хадж-Идрис играет роль хозяина. Он набивает трубки и подает их своим приятелям, тщательно вытерев каждый раз, в знак вежливости, чубук о свою щеку. Когда докуривается его собственная трубка, он осторожно вынимает из нее вместе с золою еще не догоревшие угольки и кладет эту кучку в рот для того, чтобы зажечь от нее новую трубку. Человек, по-видимому, талантливый, с умом тонким и проницательным, смягченным постоянным полупьяным состоянием, он питает свои грезы одуряющим дымом.

Курия свои трубки, искатели забвения поют, хлопая в такт

ладонями. Сначала их голоса слышатся довольно громко, но затем они становятся тише, хлопанья ленивее, и, наконец, совершенно осовевшие курильщики умолкают, устремив свои полные безумного восторга взгляды на бледные цветки розы.

Это эпикурейцы, чувственники, может быть, даже мудрецы, которые в грязном логовище мароккских бродяг умеют создавать своею фантазией великолепные города с роскошными садами, где по усыпанным розами аллеям ходит невидимое нами счастье...



## В САДАХ КЕНАДЗЫ

Почти каждый день, как только солнце начинает направлять свой путь к верхушкам каменистых холмов Марокко, унося с собою разливаемый им в воздухе ужас и гнет его мертвящих ласк, — сопровождаемая рабом, я иду на прогулку по садам Кенадзы.

Разведенные посреди пустыни и обреченные на тяжелую борьбу с медленным, но упорным нашествием песков и убийственной сухостью лежащей по соседству гамады, они имеют довольно тощий вид. В них не чувствуется той таинственной и глубокой силы, которая охватывает вас при входе в лес или в обильные влагою пальмовые рощи Фиги-га и Бехара. Группы финиковых пальм, по пяти или шести штук выходящих из одного корня, дают мало тени. Но ближе к стенам, в гуще винограда и лиан, обвивающих собою пальмы и гранаты, и под приплюснутыми смоковницами есть прелестные уголки. Лежа здесь в тени и думая свои думы, я иногда часами слушала жалобный концерт единственных музыкантов пустыни — маленьких лягушек, наполняющих собою зеленоватые пруды и поросшие мятою и пахучею базиликою сегии.

Уход за садами предоставлен своего рода арендаторам, большею частью неграм, получающим за свой труд одну пятую урожая. Эти садовники целый день копошатся на своих участках. Они расчищают сегии, заботятся о равномерном распределении влаги для питания как деревьев, так и небольших посевов ячменя; разводят цветы и овощи. Из цветов самые любимые, полезные и обязательные для каждого сада — это «цафур», замечательно красивого оранжевого оттенка, служащий женщинам для окраски материй и заменяющий румяна.

При каждом моем посещении гостеприимные садовники спешат приготовить чай. В полах своих загрязненных бурнусов они приносят мне золотистые абрикосы и миндаль, ибо гость зауйи считается ими почетным гостем.

Однажды самый старый из садовников, совсем согнувшийся под бременем лет марокканец, принес мне в подарок букет гранатовых цветов и связу луковиц.

— Посмотри, цветы и плоды моего сада не обильны. Я бедный старик, и у меня нет ничего, что бы я мог принести тебе в дар, как моему гостю. Прими эти овощи. Прими их во имя Господа, распределителя богатств, и прости меня...

Я не могла отказаться от этого наивного и трогательного приношения из опасения обидеть бедного старика, смотревшего на меня сконфуженными глазами, как будто бы он обязан был делиться со мною плодами его сада...

## У КОЛОДЦА

Каждый вечер по тропинке вдоль городской стены женщины Кенадзы идут за водою к колодцу Сиди-Амбарека. В блеске лучей самого красивого в мире заходящего солнца их одежды горят и переливаются всеми цветами радуги. Глядя издали, можно подумать, что они одеты в редчайшие шелка, расшитые золотом и драгоценными камнями.

Одни из них — суданки, а в особенности кочевницы, — выделяются плавностью своих движений и изяществом поз, когда они, изогнув бедро и руку, ставят на плечо наполненную водою амфору.

У других красоте и выразительности лица мешает дикость и в то же время робость взгляда. Но сквозь это, своего рода естественное лицемерие, являющееся, может быть, подтверждением целомудрия, блеснет иногда такая улыбка, подыскивать смысл которой было бы излишним.

Сильный запах влажной кожи и корицы идет от женских групп и распространяется в теплом вечернем воздухе.

Мужчины — негры и кочевники — приводят сюда лошадей на водопой.

Но в то время, как черные рабы смеются и шутят с женщинами, люди пустыни смотрят на них лишь краем глаза, и в их диких зрачках вспыхивают настоящие огоньки.

Сколько интрижек завязывается таким образом у колодца Сиди-Амбарека в течение тех немногих минут, пока лошади, уткнув морду в освежающую струю, утоляют свою жажду!

Несколько едва заметных жестов и быстрых взглядов достаточны для того, чтобы кочевник и ксурианка поняли друг друга и условились относительно часа ночи и места свидания.

Но здесь, в любви арабов, как и в любви кочевников, нередко заканчивающейся кровью, есть еще капля поэзии,

Совсем нет ее у женщин из еврейского квартала. Более смелые и более развязные, еврейки сами ведут атаку на мужчин, бросая вызывающие взгляды из-под век, красных

от едкого дыма сухих пальм, на которых они готовят пищу в своих грязных лавчонках.

С тех пор, как существует колодец Сиди-Амбарек, вытоптанная вокруг него площадка служит театром, клубом, оперой, — словом, самым оживленным местом Кенадзы, а хождение к нему за водою — самым свободным и веселым часом для женщин этого городка пустыни. Вдали от подавляющего авторитета мужчин, они болтают, смеются и ведут свою опасную игру.

Глядя на этот первобытный флирт, я думаю о других романах, таких же в своей основе, как и этот, но сложных и красивых, когда смысл любви заключается в изысканном внимании к нравящемуся существу и в готовности, если нужно, жертвовать для него и своими желаниями и самим собою, а не в дурацких жестах. Однако многие ли понимают это?

Наряженная в иные одежды, менее живописные, чем вот эти покрывала, любовь в городах выражается обыкновенно в гадкой и отталкивающей форме — в форме прожорливого инстинкта, стремящегося, прежде всего и главнее всего, к увековечению жизни. И это не в одних только низах населения. В самом лучшем обществе, в самых строгих гостиных, сквозь внешний ум и тщательно заученные улыбки проглядывает все тот же инстинкт, который зажигает людям глаза, изменяет голос и наводит белизну на трепещущие губы.

Было время, когда неутомимая чувственность, текущая в жилах человечества, глубоко печалила меня. Но сейчас эта естественная игра женщин пустыни доставляет мне одно развлечение. Любовь здесь не имеет никаких притязаний. И кто знает, может быть, и на самом деле ее следовало бы свести к этому, чтобы, унизившись перед природою, приобрести этим право подвергнуть поруганию самую божественную часть нашего существа — вечно беспокойную душу.

## ЦЫГАНКИ ПУСТЫНИ

Я люблю замечать характерные черты каждого из многочисленных народцев пустыни, в особенности же тех, которые сохранили чистоту своей крови и обычаев.

Вот, например, странные даже для этих мест женщины племени мения, прикочевывавшие к Кенадзе и остановившиеся на несколько дней у подножия Барги. Они выше, худее и здоровее местных ксурианок, а их изящество состоит, если можно так выразиться, в искусстве носить лохмотья.

Что женщина, одетая в богатые ткани, украшенная драгоценностями, побрякушками, вычурными прическами и надушенная сильными духами, может иметь вид ходячей кучи тряпок — это показывают нам еврейки Алжира, отказавшиеся от традиционного костюма и начавшие одеваться по французской моде. Наоборот, прикрывая свою наготу жалкими шерстяными лохмотьями, женщины кочевников-грабителей поражают своею горделивою осанкой и благородством поступи. Их отрепья составляют как бы одно целое с точно отлитым из бронзы телом. Когда резкий ветер, прижимая к ногам тунику, обрисовывает их нервные формы, — так и кажется, что видишь худую волчицу пустыни, вышедшую из пещеры на добычу.

Своими манерами эти женщины сильно отличаются как от арабов, так в особенности от мавританок. Перед мужчинами чужого племени они ходят смело и не раскачиваясь. Кокетство у них как будто отсутствует, а между тем, улыбка их алых губ действует гораздо сильнее, чем чувственность суданок или многообещающее выражение рта евреек.

Кочевник считает еврейку нечистою и никогда не замечает белой и немного болезненной красоты дочерей Меллы. Обе расы живут бок о бок, терпят друг друга, но никогда не смешиваются и не сближаются. Пастух и грабитель нуждаются иногда в евреях и могут вести с ним бесконечные споры, но раз кончено дело — конец и всяким отношениям.

Женщин племени мения можно смело назвать цыганами пустыни. Они обладают строгою красотой, просвечи-

вающею сквозь все дыры их туник землистого цвета. Бедность не составляет для них никакого несчастья. Они воображают, что вся возможная на земле роскошь заключается в красивой лошади и хорошо насеченной рукоятке кинжала.





## В ЕВРЕЙСКОМ КВАРТАЛЕ

Темнеет, и вместе с темнотою мою душу охватывает тяжелая тоска. Я наизусть знаю все сказки африканской ночи, а колыбельная песня моих воспоминаний сушит мне горло. Я больна от всех книг, прочитанных мною, от всех голосов, беседовавших со мною, и от всех путей, которыми я не следовала.

Я не могу больше подвергать себя пытке ненарушимого молчания этих запретных садов, этих террас, где все так спокойно, все решено, нет никаких препятствий, нет движения, нет действий, где умирают от вечности... Я хочу хоть немного жизни, простой, не думающей жизни, хочу слышать пение, смех, веселые голоса...

Меня неодолимо тянет за ворота зауйи, и я отправляюсь в Мелла смотреть на пляску силуэтов в волшебном фанаре жизни.

Вот перед дверьми своих тесных обиталищ еврейки разложили костры и, словно колдуньи, стоя над большими котлами, мешают варящуюся в них пищу.

Трудно представить себе что-нибудь оригинальнее этой иллюминации. Длинные языки желтого пламени сухих пальм и красноватый тусклый огонь верблюжьего помета освещают своим дрожащим и перемешивающимся светом фасады домов и глиняные стены. Появляющиеся на этом экране тени то вытягиваются до верхушек домов, то падают на песок, то сталкиваются друг с другом и разбегаются в разные стороны.

В то время, как женщины копошатся у костров, мужчины, сидя на корточках в глубине своих лавок, доканчивают при свете дымящихся огарков свою мелочную работу.

Еврей пустыни сильно отличается, особенно от мусульман, своею вульгарностью. Он не имеет ни малейшего представления о том, что мы называем чувством благородства. В этом, без сомнения, заключается секрет, почему он так легко проникает всюду. Когда он хочет приспособиться к чему-нибудь, ему нет надобности ни гнуть, ни ломать ничего

в своем характере.

Внезапно вспыхнувшее пламя осветило целые группы молчаливо, подобно отдыхающему скоту, расположившихся на песке мужчин. Эти цепкие и упорные люди, покончив работу, не поют, не смеются — они ожидают часа ужина. Их счастье кажется мне очень нетрудным. Я знаю их душу — она подымается в парах котла... Я завидую им.

Они представляют собою критику моего романтизма и того неизлечимого недуга, который я принесла с собою с Севера и мистического Востока вместе с кровью предков, бродивших до меня по степи.

Когда же, наконец, пройдет у меня эта своеобразная магия, заставляющая меня смотреть на самые простые движения, как на священнодействия? В этом вся наша арийская слабость. Когда другие готовят себе обед, мы думаем о жертвоприношениях Сомы, о возлияниях на огонь благовонных масел.

Облокотясь на обломок развалившейся стены, я продолжаю рассматривать постепенно меняющиеся картины моего волшебного фонаря.

Вот ползают взад и вперед дети, извиваясь по песку, точно личинки. Там с земли подымается красивая еврейка. Усталая и чувственная, она как тигрица потягивается, выгибая свой стан и выпячивая грудь. Красное пламя обливает ее своим кровавым светом, наводя румянец на ее бледное лицо. Ее фиолетовые глаза с тяжелыми веками кажутся более глубокими, синева под ними более темною, выражение более земным...

Мало-помалу эти картины мирной хозяйственной жизни начинают успокаивать и меня. Некрасивая своею бедностью и грязью Мелла Кенадзы кажется мне сейчас уголком какого-то таинственного города, поклоняющегося всепожирающему божеству огня.

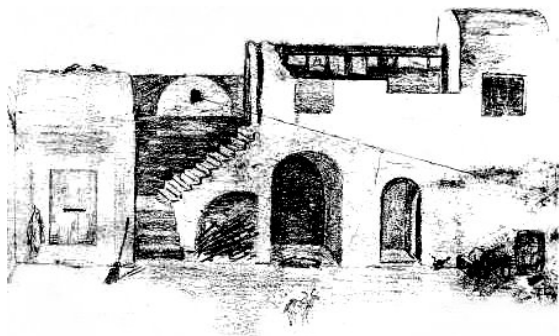
Где же я, однако, жила, чтобы так глубоко почувствовать эту, точно виденную мною когда-то картину?

Заспанным голосом какая-то еврейка поет песню, укачивая своего горько плачущего ребенка. Из соседней конюшни слышится печальный рев ослика. Становится поздно.

Еврейки расходятся. Оставленные огни догорают перед закрытыми дверьми.

Вдали муэддины разливают по пустыне неизмеримую грусть их молитвенного зова. Могильный покой ислама стирает последние картины преображенного предместья.

В этот вечер я заснула безмятежным сном. Это был один из последних вечеров моего душевного и телесного здоровья. Немного времени спустя тяжелая лихорадка свалила меня с ног и перенесла меня в царство ужасных видений и мучительных грез...



## ТЯЖЕЛЫЕ ДНИ

Это был страшный полуденный час, — час, когда сама пустыня, умирая от зноя и жажды, начинает бредить миражами.

Больная, я лежала на циновке в одном из запасных помещений, выходящем на высокую террасу. Маленькая комната во всю ширину открывалась на свинцовое небо и безбрежную даль песков и дюн, каменистые верхушки которых казались иногда срезанными и плавающими в волнах колебавшегося от жары воздуха.

За моим изголовьем к потолочной балке подвешен был козий бурдюк. Капли воды, просачиваясь сквозь кожу, падали на поставленный на земле медный таз.

Каждую минуту медь звучала с отчетливостью и однообразием госпитальных часов, и этот звук причинял мне острую боль, точно упрямая капля падала на мой горевший в огне череп.

Сидя возле меня на поджатых ногах, суданский раб с глубокими рубцами на лице молча обмахивал меня мухоголкой, сделанной из конского волоса и выкрашенной лавзонией.

Я смотрела на раба. В течение нескольких минут, казавшихся мне годами, я воображала, какое сильное облегчение испытала бы я, если бы он убрал таз и вода начала бы падать на земляной пол. Но я не могла произнести ни одного слова, и капля неумолимо продолжала звенеть по отполированному металлу.

Но вот стены моей комнаты начали понемногу раздвигаться. Балки потолка становились тоньше, прозрачнее и, наконец, совершенно исчезли из моих глаз. Я видела над собою низкий свод небес, а над моею головою качались и шумели серебристо-голубые пальмы. На веретенчатых стволах их, обвитых темно-зелеными виноградными лозами, висели гроздья крупных и сочных ягод. Пышно цвели своим кроваво-красным цветом гранатовые деревья.

Я лежала в сегии на мягких водяных растениях. Холодная вода бежала по моему телу, играя моими длинными русалочьими волосами, щекодавшими мне грудь и заставлявшими меня трепетать от их влажной ласки.

Время от времени вода в сегии подымалась выше, захватывала мне рот и, сама собою вливаясь в мое пересохшее горло, гасила внутри меня невыносимый огонь жажды. Мне хотелось крикнуть от счастья. Но едва только начинала я шевелить губами, как вода быстро опускалась. Черная тень скрывала от меня и небо и деревья.

Потом снова перед моими глазами появлялись огромные пруды с нависшими над ними деревьями. С покрытых густым мхом скал звенели кристальные водопады. Бесчисленные колодцы скрипели со всех сторон, доставляя из темных недр своих драгоценную влагу — источник жизни и счастья... Мне же невыносимо хотелось пить, пить и пить.

Где-то далеко-далеко, в самой глубине сада, кто-то запел песню...

Этот голос разбудил меня. Я открываю глаза и снова вижу себя в моей маленькой комнатке. Снаружи доносится заунывный голос служителя мечети, возвещающего время дневной молитвы.

Бодрствовавший возле меня раб подымает черный указательный палец правой руки, свидетельствуя о единстве Божиим и о пророческой миссии Его Посланника. Потом он встает, облекает свое черное тело в белое покрывало и начинает молиться. При каждом земном поклоне его кривой мароккский кинжал в медных ножнах бренчит, ударяясь о землю. «Бог есть величайший», — говорит он и с этими словами простирается ниц, устремляя глаза к Мекке и касаясь лбом земли.

Я слежу глазами за медленными движениями раба.

Окончив молитву, суданец возвращается на свое место возле меня и снова принимается махать своею длинною, выкрашенною в оранжевый цвет махалкою...

Бурая мгла подымалась над террасами, трескавшимися от жары. Тяжелый, как расплавленный металл, воздух висел неподвижно. Моя белая одежда была насквозь пропи-

тана испариною, жестокая, ничем не утолимая жажда мучила меня. Все члены мои были разбиты и ныли от боли. Точно налитая свинцом голова скатывалась с мешка, служившего мне подушкой.

Раб обмакнул кусок кисеи в кувшин с водою и освежил мне лицо и грудь. Затем он влил мне в рот несколько капель теплого мятного чая.

Я вздохнула, пробуя потянуть мои непослушные руки.

Голос муэддина замолк над погруженным в безмолвие ксаром, и я снова отправилась в долгое странствование по садам моей больной фантазии...

Только к вечеру подняла я снова мои тяжелые веки и устремила жадный взгляд на заходившее солнце.

И вот, внезапно, бесконечная печаль и детские сожаления нахлынули на меня и наполнили мне всю душу.

Я одна, — одна в этой никому неведомой трущобе Марокко и одна во всем мире, куда бы ни занесла меня судьба. У меня нет ни родины, ни дома, ни семьи... а, может быть, нет больше и друзей. Всюду я или чужой человек, или самозванец, навлекающий на себя подозрения и клевету.

Сейчас я страдаю вдали от всякой помощи, среди людей, которые равнодушно смотрят на развал всего их окружающего и скрещивают руки перед болезнью и смертью, как перед неизбежным «мектуб».

Те же, которые могли бы позаботиться обо мне, находятся далеко и, без сомнения, думают о собственном счастье. Мои страдания не тронут их... Да так, конечно, и должно быть!

Успокоившись с первыми слезами, я почувствовала презрение к моей слабости и улыбнулась моему несчастью.

Если я одна, то не сама ли я хотела этого в часы полного самообладания, когда моя душа подымалась выше того, что говорят одинаково немощные сердце и плоть?

Жить одинокой — значит быть свободной, а свобода — это единственное счастье, необходимое для моей натуры, беспокойной, нетерпеливой и гордой, — гордой, несмотря ни на что.

Затем, не мои ли это были слова: «Слава тем, которые идут в жизни одиноко! Только герои и святые, как бы ни были они несчастливы, являются цельными существами. Все остальные имеют лишь половину души».

Я сама стремилась к моему одиночеству и была вознаграждена за это без меры. Бедная, я владела божественными богатствами, когда с террасы деревенского дома в пустыне упивалась зрелищем заходящего солнца... Я взглянула мысленно на блестящие салоны и театральные ложи и почувствовала глубокую жалость к поющим, прыгающим и охорашивающимся в этих оклеенных сусальным золотом клетках. Высохшими от болезни руками измяла я убогую ткань их хорошо известных мне мечтаний. Я измерила глазами место их будущей могилы и моей... и вместе со слабым ветерком, пахнувшим на меня через открытую дверь, необъятная пустыня вдохнула в мою душу свой глубокий покой и тихую, сладкую грусть...

## НЕОДОЛИМАЯ СИЛА

Временами лихорадка покидает меня, но я чувствую еще большую слабость, и меня утомляет каждое физическое движение. Давно не получала я писем и не жду их больше. Я работаю над приведением в порядок заметок, не зная, прочтет ли когда-нибудь и заинтересуется ли хоть один человек этими страницами, писанными без определенной цели.

Я хотела овладеть этою странюю, но она сама овладела мною. Иногда я спрашиваю себя, не подчинит ли она своей власти и всех новых завоевателей, которые явятся сюда со своими идеалами могущества и свободы, и не переделает ли она их на свой лад совершенно так же, как поступила она со всеми прежними своими покорителями.

Разве не земля отливает людей в ту или иную форму?

Что станется с любым из европейских народов, совершившим свое нашествие на Африку, когда солнце выполнит свою медленную работу ассимиляции, действуя на человеческий организм и заставляя его применяться к условиям почвы и климата? Через сколько поколений наши северные расы будут иметь возможность назвать себя такими же туземцами, как русые кабиллы или светлоглазые ксуриане?

Вот вопросы, которые бы мне хотелось наметить возможно полнее для того, чтобы другие могли ответить на них с большею положительностью.

Сама я вижу пока лишь ту несомненную истину, что бесполезно бороться с причинами, устранение которых непосильно людям, и что надежная пересадка цивилизации с одной почвы на другую — дело невозможное.

Глядя по вечерам на стелющиеся над пустыней облака серого дыма, я чувствовала в них не простые испарения, а фимиами, воскуриваемый каждую ночь землею ее таинственным и грозным божествам.

От этих кумиров не в состоянии будет отречься ни одна самая смелая и скептическая душа, ибо африканское бо-



жество сейчас же напомним о себе. В самом чудовищном виде покажет оно себя в тот вечер, когда сваленный лихорадкою дерзкий богоотступник будет стараться забыться сном, лежа затылком на попанной им земле со взглядом, обращенным к черной бездне африканского неба.



## ЗАКАТ

Какая глубокая и тихая радость наполняет меня каждый вечер, когда заходящее солнце начинает распускать свой пурпуровый веер, а тени пальм и стен удлиняются, ползут и гасят еще остающийся на земле свет!

Угрюмое равнодушие, овладевавшее мною в часы дневного недомогания, покидает меня, и снова жадными и очарованными глазами смотрю я на великолепие хорошо знакомой и вечно новой декорации. Простая и однотонная красота этой страны с ее незатейливыми линиями расцвечивается теплыми и прозрачными красками. Выделяемые бесплодную землю испарения, колеблясь и мерцая, как сияние славы, придают особую выразительность передним частям грандиозной картины, в то время как дали ее постепенно заволакиваются легкою серо-голубою дымкою.

В этот вечерний час ежедневного возрождения души каждое существо чувствует себя точно выросшим и похорошевшим.

На дорожке к колодцу Сиди-Амбарек появляется вереница кокетливо улыбающихся и весело щебечущих женщин.

Группы мужчин беседуют, полулежа на разостланных на песке бурнусах. Но с закатом солнца каждый мусульманин встает и с тем благородством в движениях, которое неразлучно с спокойным и ясным настроением души, направляется к низине у кладбища.

Сильный гул густых голосов, читающих вечернюю молитву, подымается из этого уголка пустыни.

По окончании молитвы мужчины снова расходятся к своим бурнусам, и еще долгое время их руки перебирают в темноте зерна красных и черных четок, а губы шепчут словословие Пророку...

...Быть здоровым телом, омывая себя от нечистоты свежей и холодной водою, верить, не мудрствуя и не борясь с самим собою, терпеливо и без страха ожидать неизбежного часа кончины — вот все, что необходимо для душевного покоя и счастья мусульманина, и — кто знает? — может быть,

в этом и есть истинная мудрость...

Время течет здесь ровно и безмятежно, как река по равнине, где не отражается ничего, кроме туч красок, которые, пройдя сегодня и вернувшись завтра, не перестанут изумлять нас никогда.

В самой себе я чувствую большую перемену. Мало-помалу и мои сомнения, и моя печаль, и мои желания становятся менее ясными, ум расплывается в неопределенности, а воля не выходит из дремотного состояния.

Опасная и приятная оцепенелость, незаметно, но безошибочно ведущая к вратам того рая, где на развалинах человеческих страстей восседает Великое Ничто.

Как мне считать все эти дни, все эти недели, в течение которых ничего не случилось, ничего не делалось, не было ни усилий, ни страданий и только иногда чуть-чуть шевелилась мысль?

Следует ли их вычеркнуть из моего существования и оплакивать образованную ими пустоту или же, наоборот, когда настанет пробуждение, жалеть их, как лучшие во всей жизни?

Я ничего не знаю больше.

По мере того, как в меня проникает неподвижный дух ислама, которым здесь, кажется, дышит вся земля, по мере того, как безмятежно текут мои дни, необходимость труда и борьбы чувствуется мною все слабее и слабее.

Я, которая еще недавно мечтала о далеких путешествиях и жаждала деятельности, — я желаю теперь, не смея чистосердечно сознаться в этом, чтобы нынешняя дремота продолжалась бы если не до бесконечности, то, по крайней мере, возможно дольше.

Но я знаю хорошо, что лихорадка странствований еще вернется ко мне и что я не усую на месте, ибо я еще очень далека от спокойствия и непротивленчества факиров и мусульманских отшельников.

Однако все то, что говорит во мне, что беспокоит меня и что завтра толкнет меня на поиски нового, — это не самый разумный голос моей души, а тот дух деятельности, которому нужен простор и который не ослабел и не сжался

еще до такой степени, чтобы в самом себе мог бы искать и найти свою вселенную.

И вот мне кажется, что то, чего так усиленно искали многие из мечтателей, нашли простодушные... По ту сторону науки и прогресса, под поднятою завесою веков, я так же ясно вижу идущего по сцене будущего человека, как ясно понимаю и то, что при желании и сейчас уже можно завершить свое существование в тишине и покое какой-нибудь заужи Сахары, завершить его без сожалений и тревожных порывов, неподвижно сидя на месте и не сводя восторженных глаз с опьяняющего своею пышною красотою горизонта.



## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Я хотела провести лето в Кенадзе с тем, чтобы с началом осени продолжать мой путь в более отдаленные и менее известные страны. Меня очень тянуло в Тафилала. Готовившийся к отходу по этому направлению караван берберов охотно брался доставить меня на место за пятьсот франков французскими деньгами. Один из вожаков каравана, Эль-Хасани, находился сейчас в зауйе.

Я без боязни отправилась бы в путь с этими людьми, но злостная лихорадка все еще сидит во мне, и на такое путешествие у меня не хватит сил. Поэтому, после долгих колебаний, я решаюсь вернуться в Аин-Сэфру.

В последний раз просыпаюсь я на террасе, разбуженная хриплым пением муэддина, разносящимся в предрасветной тиши.

Свежо. Все спит.

Итак, я еду сегодня в Бехар, оттуда в Бени-Униф и далее в Аин-Сэфру. Полечившись в тамошнем госпитале и набравшись сил, я надеюсь с первой же оказией отправиться к группе оазисов Туат. Хотя эти места известны, но о них до сих пор не написано ничего ценного.

Я рассчитываю провести там зиму и вернуться назад с работами, которые составят вторую книгу моих трудов по Сахаре, дополнив собою впечатления моих поездок по Южному Орану и мои мечтания в зауйе.

Таким образом, и я, подобно многим другим, могла бы сделаться исследователем и питать надежду, что каждый, кто после меня посетит эти страны, легко узнает все то, чего я касаюсь моим пером. Некоторые из моих товарищей, офицеров или солдат, добавят к написанному тысячи мелких подробностей из наших повседневных разговоров. Более простые и равнодушные к книгам мохацни, с которыми я провела немало времени, может быть, совсем не услышат о моем имени; но когда я снова встречу с ними, мы по-прежнему будем беззаботно болтать в каком-нибудь арабском кафе, а сопровождая меня в поездках, они опять бу-

дут петь мне свои заунывные песни...

Усталость и разочарование придут потом — в свое время.

Вот вся моя несложная будущность. По крайней мере, мне хочется видеть ее такую в это чудное утро, при розовом свете уже загорающей на Востоке зари.

Спавшие на одной террасе со мною Эль-Хасани и негр Сахэль также собираются в дорогу. Отправляясь к своему каравану в Бу-Дниб, они все еще хотят соблазнить меня ехать с ними.

— Подумай хорошенько, Сиди-Махмуд, — говорит мне Бербер, — пока еще есть время. Мы целый месяц будем идти по землям, где ты будешь видеть новых людей, новую жизнь и будешь иметь возможность поучиться. Мы подыдемся вверх по Гиру, дойдем до Тафилала, а оттуда до Тисинта... Ты будешь принят везде, как брат.

Искушение слишком большое... Но ехать, чувствуя себя такую слабою, не испросив разрешения и не предупредив никого, весьма рискованно. Не будет ли подобная поездка, предпринятая из любознательности и с научною целью, истолкована дурно? С болью в сердце останавливаю я окончательно свой выбор на пути в Бехар.

— Нет, Эль-Хасани, не могу я сейчас ехать с тобою. Потом, когда я буду в силах, я предупрежу тебя.

— Да поможет тебе Бог выполнить твои предположения без труда!

Еще два негра, которые пойдут с Эль-Хасани пешком, неподвижно сидят у стены, положив ружья на колени. Они плохо понимают по-арабски, так как родились и выросли на фецской дороге, среди аит-исшоружен, самого замкнутого из берберских племен.

Один из них все время угрюмо молчит и смотрит на меня исподлобья. В его глазах я, очевидно, не более, как окаянный, проклятый м'цани. Эль-Хасани отдает короткий приказ, и негры начинают седлать лошадей.

Мои товарищи по зайе пальцем показывают мне направление Гиры, по которому они проедут. Но сначала они хотят проводить меня на некоторое расстояние и уже потом вернуться на свою дорогу.

— Мы пройдем с тобою, — говорит мне Эль-Хасани, — до кладбищенской тропы.

Мы трогаемся. Мое горло сжалось от волнений до такой степени, что я еле могу отвечать на обращенные ко мне слова. Однако, нужно до конца показать, что у меня сердце мужчины.

На маленьких, острых плитках, врезавшихся в землю и обозначающих собою края могил, мы, по принятому при расставании друзей обычаю, сходим с лошадей и троекратно целуемся.

— Иди с миром и Божией помощью!

— Да встретится тебе на пути счастье!

Сев снова на лошадей, мы разъезжаемся в разные стороны: Эль-Хасани к неисследованному западу, куда мне так хотелось бы ехать вместе с ним, а я назад, в уже пройденные и не представляющие собою ничего нового места.

С вершины холма я еще долго следила за людьми из Бу-Дниба. Постепенно удаляясь, они скрылись, наконец, в лабиринте дюн.

По мере того, как моя лошадь тихими шагами подвигается вперед, я грустным взглядом обвожу знакомые мне долины. Какою поразительною красотою пленяли они в первый раз — и какими уродливыми, скучными и неинтересными кажутся они мне теперь, когда я еду назад, может быть, на долгое время изгоняемая из моей любимой пустыни.

Злобно сжав ногами бока моей белой кобылицы, я быстрым галопом пускаюсь вперед, и ветер пустыни осушает мои влажные глаза...

## **Часть II**

### **РАССКАЗЫ, НАПЕЧАТАННЫЕ ИЗАБЕЛЛОЮ ЭБЕРГАРДТ В РАЗНЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ**



## ТАИНСТВЕННЫЙ МУЗЫКАНТ

Летом 1899 г. очарованная сияющим и задумчивым старым Востоком, я в течение двух месяцев носилась за ним в своих мечтах по древним кварталам белого Туниса, полным безмолвия и тени.

Одна, с моею слугою, старою мавританкой Хадиджей, и моею черною собакой, я занимала очень большой и очень старый турецкий дом, находившийся в одном из наиболее удаленных уголков Баб-Менара, почти на вершине холма.

По запутанности своей распланировки, обилию коридоров и комнат, расположенных на разных уровнях, со стенами, облицованными старинными разноцветными изразцами и украшенными тонкими, вылепленными из гипса кружевными рисунками, убежавшими под конические потолки из крашеного и золоченого дерева, — этот дом представлял собою настоящий лабиринт.

Там, в прохладной полутьме и тиши, нарушавшейся лишь грустным пением муэддинов, дни шли за днями, полные неги и никогда не наскучивавшего однообразия.

В знойные часы послеполуденного отдыха, в моей обширной комнате с зелено-розовыми фаянсовыми стенами, Хадиджа, сидя в углу на корточках и быстро шевеля своими выцветшими губами, перебирала черные зерна своих четок. Растянувшись на полу в львиной позе и положив свою сухую тонкую морду на могучие лапы, Дедал внимательно следил за полетом изредка появлявшихся мух. А я, лежа на своей низкой кровати, предавалась своим бесконечным грезам.

Это был период отдыха, нечто вроде благотельного привала между двумя периодами, полными приключений и почти смертельной тоски. Поэтому и впечатления, которые оставила во мне тамошняя жизнь, приятны, грустны и несколько туманны.

Позади моего жилища, отделенного от улицы арабскими домами, населенными и точно забронированными от

постороннего глаза, находился маленький квартал без выхода, весь в развалинах. Стены, своды, маленькие дворы, еще не упавшие террасы — все это поросло диким виноградом, плющом и прожорливою травой. Никто, по-видимому, не беспокоился об этих домах, обитатели которых или вымерли, или уехали навсегда...

Однако, в таинственной тишине лунных ночей, в ближайшем ко мне одноэтажном доме жизнь пробуждалась каким-то странным образом.

Из одного из моих забранных решетками окон я могла видеть все, что делалось внутри небольшого дворика. Стены и две комнаты дома держались еще кое-как. Фонтан с каменным, сильно выщербленным бассейном, всегда полным неизвестно откуда притекавшей свежей воды, почти исчезал под обильной растительностью.

Это были большие кусты жасмина, осыпанные белыми цветами и перевитые гирляндами дикого винограда. Дикие розы усеивали своими лепестками белые каменные плиты. С наступлением ночи теплый аромат подымался из этого уголка тени и забвения.

И вот каждый вечер, как только луна начинала освещать верхние части развалин, я, полускрытая легкою занавесью, имела возможность наблюдать сцену, сделавшуюся, мне в скором времени знакомою, — сцену, о которой я с волнением думала в течение всего дня и которая, тем не менее оставалась для меня загадкою. Впрочем, может быть, и вся прелесть воспоминания заключалась именно в этой таинственности. Ни разу не заметив, откуда приходил этот молодой мавр, элегантно одетый в богатые шелковые одежды под белоснежным бурнусом, и каким образом проникал он на маленький дворик, — я всегда заставляла его уж на месте, сидящего на камне.

Он был удивительно красив с его матово-белым цветом лица арабских горожан и с их немножко небрежным изяществом манер; но в выражении его лица читалась глубокая грусть.

Он садился всегда на одном и том же месте и, устремив глаза в голубую бесконечность ночи, начинал петь так, как

певали когда-то его предки под небом Андалузии. Медленно и певуче подымался его голос и разносился в воздухе, как плач разбитого сердца.

Больше всего нравилась ему, по-видимому, эта, самая мелодичная из его песен:

«Безысходная грусть сжимает мне душу и наполняет ее тоскою. Она давит мне сердце, как могила давит тело и убивает его. От этой грусти нет лекарств, ее не исцелит даже смерть, потому что и позднее, когда моя душа пробудится для другой жизни, — моя грусть снова возродится в ней».

Что эта была за неисцелимая грусть, на которую жаловался странный певец? — об этом он не говорил никогда.

Но его голос был чист и приятен, и, слушая его, я в первый раз поняла всю чарующую прелесть старинной арабской музыки, приводившей собою в восхищение много других печальных душ раньше моей.

Иногда молодой мавр приносил с собою маленькую свирель, на которой играют пастухи и верблюжатники-бедуины. Этот легкий тростник, казалось, сохранил в себе серебрястое журчание возраставших его ручьев.

До поздних часов, в то время, как мусульманский Тунис спал, опьяняемый ароматами, незнакомец изливал таким образом в пении и вздохах свою тоскующую душу. Затем бесшумно, точно привидение, он подымался с камня и исчезал в тени двух маленьких комнат, соединявшихся, вероятно, с другими развалинами.

Бывшая раба, Хадиджа в течение сорока лет жила в самых знаменитых семьях Туниса и на своих коленях воспитала не одно поколение молодых людей. Однажды я подозвала ее и показала ей ночного музыканта. Суеверная старуха покачала головою:

— Я не знаю его... хотя хорошо знаю всю молодежь, принадлежащую к лучшим семьям города.

Потом, понизив голос, она с дрожью добавила:

— Бог его знает, живой ли это человек. Может быть, это просто тень одного из прежних обитателей, а его музыка — какое-нибудь колдовство?

Зная характер этой расы, где каждый вопрос, касающийся частной жизни и тех или иных поступков лица, считается оскорбительным, — я не посмела обратиться к незнакомцу из опасения навсегда спугнуть его из его убежища.

Однако я напрасно ждала его в один вечер. Он не пришел больше. Но звук его голоса и нежные переливы его свирели до сих пор еще вспоминаются мне в лунные ночи. И порою какая-то странная грусть охватывает меня при мысли, что никогда не узнаю я, кто был этот таинственный музыкант и что влекло его к этим развалинам.

## БЛЕД-ЭЛЬ-АТТАР

### (Город ароматов)

В одном из древнейших кварталов Туниса, рядом с мечетью Джемаа-Зитуна, где все дышит спокойною стариною и непоколебимою верою, есть небольшой тенистый пассаж — Сук-эль-Аттарин. При самом входе в него вас охватывает особенная атмосфера, сотканная из нежнейших красок и тончайших запахов.

Под высоким сводчатым навесом, опирающимся на кривые красно-зеленые колонны, бегут, перекрещиваясь между собою, тропинки, протоптанные ножками приезжающих сюда таинственных покупателей.

Направо и налево, точно шкапы, открываются маленькие лавочки, внутри которых сидят владельцы их, мавры, с бледно-восковыми лицами, с смягченным полутьмою выражением глаз и истомленными благоуханием чувствами.

Среди торговцев Сука был один задумчивый и полный природного благородства молодой человек, Си-Шедли-Бен-Эсахели, сын набожного и ученого юрисконсульта Джемаа-Зитуна.

Си-Шедли любил одеваться с тою скромною элегантностью, с какою некоторые из тунисцев, унаследовавших традиции далекого прошлого, умеют еще носить шелка блеклого цвета, изумительных по красоте оттенков.

Небрежно облокотясь на драгоценный перламутровый ларец, Си-Шедли проводил обыкновенно время за чтением старинных арабских книг — романов и стихов. Перед ним на небольшом столике стояла чашка кофе, приготовленного на розовой воде, трубка и в полупрозрачной, из настоящего стамбульского фарфора, синей вазе большой цветок душистой магнолии.

— О чем думаешь ты, Си-Шедли? — часто спрашивали его друзья, от которых он держался несколько в стороне, не питая к ним, однако, никаких неприязненных чувств.

— Я думаю о том, что все человеческие радости — дым, и что нет ничего на свете, что могло бы развлечь меня хоть сколько-нибудь.

Однажды перед воротами Сука остановилась карета, и из нее вышли закрытые вуалью женщины. Войдя под навес, они раскачивающеюся походкой направились вдоль пассажа и случайно остановились у лавки Си-Шедли, привлечшей их внимание тем, что она походила на большой сундук из резного дерева.

Молодой человек сейчас же заметил, что это были иностранки, потому что у них под «ферошией» надет был вызывающе сбитый набок остроконечный чепец, какой носят аликирки из Константина.

Самая юная из них села на скамейку и защебетала, точно опустившаяся на ветку птичка.

Отобрав своими длинными и тонкими, слегка выкрашенными лавзонией пальцами несколько граненых флаконов, ящичков из слоновой кости и ароматных лепешек, поторговавшись о цене, она встала, сдвинула вместе свои покупки и равнодушным тоном сказала хозяину лавки:

— Ты пришлешь мне все это в дом Леллы-Ханэни, в квартал Хальфауин... Впрочем, не посылай с посыльным, так как это слишком ценные вещи... а принеси их сам.

С этими словами пристальный взгляд больших черных глаз мавританки уперся в глаза Си-Шедли. Почувствовав приятную тревогу, Си-Шедли не успел вовремя повернуть голову и с смутившей его самой улыбкой спросил:

— Когда?

— Сегодня вечером, после заката солнца.

Хотя в определенный час молитвы Си-Шедли аккуратно явился в мечеть, но он вышел из нее недовольным самим собою: он молился торопливо, и его душа встревожена была другими заботами.

Красный отблеск вечерней зари освещал еще верхушки городских зданий со стороны Баб-эль-Горжани, когда более подвижный, чем обыкновенно, Си-Шедли пробирался

через спокойную и медлительную толпу запоздавших в своих лавках туницев, направляясь в Хальфаун.

Он вошел под своды тупика и остановился перед маленькою, невероятно низкой дверью. Тяжелый железный молот странно прозвучал внутри старого, начавшего уже обрастать травой дома.

— Ашкун? (Кто там?) — послышался дрожащий старческий голос.

— Халльи! (Открой!).

Никогда араб даже перед собственным домом не произнесет свое имя на улице.

Дверь полуоткрылась, и в ней показалась старуха, одетая в синюю «футу», носимую бедными тунисками.

— Ты из Сук-эль-Аттарина?

Она впустила его на большой двор с тремя апельсиновыми деревьями. На галерее второго этажа одна дверь была задернута шелковою занавескою, красною, как цветок граната.

— Вон туда! — показала старуха.

По полутемной, выстланной синими фаянсовыми плитками, лестнице Си-Шедли взошел вверх и с бившимся от волнения сердцем приподнял зашелестевшую и точно пламя охватившую его руку занавеску. Там, на густом джеридском ковре, среди вышитых матовым золотом подушек полулежала женщина, одетая в рубашечку из белого газа с широкими, шитыми золотом рукавами, в шитом золотом же зеленом бархатном кафтане и в нескольких шелковых гандурах. В своей полулежачей позе она сохранила еще на голове остроконечную «шешию», украшенную бахромчатым фуляром, пронизанным двумя золотыми цепочками, соединявшимися под подбородком, обрамляя таким образом ее матовое лицо и освещая его.

— Добро пожаловать... Садись.

Она была красива тою неуловимою красотою, в которой есть что-то личное и лучистое — какая-то скрытая, едва обнаруживающая себя теплота.

Он сел возле нее. Старуха-мавританка принесла на маленьком, медном с резьбою подносе обязательный кофе.

— Ну что, женщины твоего Туниса так же хороши, как Манубия? — спросила она, смеясь своим беззубым ртом.

— Манубия?.. Это роза, спрятанная в листе.

— Ты также очень красив.

Разглядывая своего гостя, Манубия играла веером, чуть-чуть позвякивая своими браслетами. Такой же звон дорогих колец на ее ногах слышался при каждом движении ее тела, с кошачьей грацией нежившегося на мягком ковре. У нее не было развязности куртизанок Туниса, и Си-Шедли не мог найти тона, который он легко нашел бы с другою женщиною. Нечто вроде робости чувствовалось обоими ими.

— Послушай, — сказала она, — я отправилась покупать духи, чтобы доставить себе маленькое развлечение... но, когда я увидела тебя, — мое сердце захотело тебя, как драгоценнейшую из эссенций... Почему же ты не говоришь мне ничего? Зачем хочешь ты, чтобы я стыдилась тебя?

— Но кто ты и откуда явилась ты, чтобы нарушить мой грустный покой?

— Бон был нашим городом, но выросла я в Константи-не, у этой старухи — моей тетки, сестры моей матери. Я приехала сюда, потому что мне было скучно.

Все еще робея, Си-Шедли положил руки на колени Манубии и, лаская ее глазами, проговорил:

— Нет, ты прилетела сюда, как голубка к дикому голу-бю.

Золотые цепочки вздрогнули на щеках мавританки.

Старуха исчезла, и они остались вдвоем в молчании опьяняющей ночи...

. . . . .

С этого дня Си-Шедли начал все чаще и чаще забывать свою лавочку, не открывал больше старых книг и жил точно во сне.

Си-Шедли было двадцать пять лет. Он успел уже наслаждаться радостями жизни до пресыщения, но до сих пор не подозревал еще, что любовь может быть так сильна, что



она в состоянии изменить вид вселенной.

Каждый вечер, когда он отправлялся в Хальфаун, ликующая природа устраивала ему настоящий праздник. Каждое утро, когда, усталый и счастливый своею усталостью, шел он на купанье, ему казалось, что сквозь разрывающуюся завесу небо сыплет на землю лепестки жасмина... Даже перед молитвою он чувствовал в воздухе аромат своей любви.

Он не открыл своей тайны никому и, видя его таким бледным, многие думали, что у него началась чахотка.

Но умный и суровый Си-Мустафа-Эсахели посмотрел на дело иначе. Заметив перемену в своем сыне, он приказал последить за ним, и скоро тайное убежище Манубии сделалось известным старику...

В один вечер, когда Си-Шедли постучался в дверь, старая туниска встретила его плачем:

— Нет ее... Забрали твою голубку!

— Что говоришь ты?

— Да, Сиди. Сегодня пришли сюда люди бея... Они забрали ее и старую Тебуру, несмотря на то, что они горько рыдали и звали тебя. Их отвезли на вокзал и отправили в Алжир.

Си-Шедли молча смотрел на старуху. Он еще сомневался и не понимал.

Он вошел на белый и пустой двор, поднялся по синей фаянсовой лестнице, сорвал занавеску и увидел пустую комнату. В эту минуту точно кто-то ударил его по голове. Он покачнулся, и на его побелевшем лице вместо глаз образовались два провала.

— Клянусь Богом и Его Пророком, — я найду ее! Клянусь великим шейхом Сиди-Мустафою-Бен-Аззузом, моим господином в этом мире и будущем... я найду ее!

Осторожно и терпеливо старался он отыскать какой-нибудь след мавританки. Наконец, один из друзей сообщил ему, что Манубия вернулась в Бон, где, по слухам, ведет жизнь куртизанки.

При этом известии сердце Си-Шедли забилось скорее надеждою, чем гневом. Он пойдет к своей подруге, он возь-

мет ее и своими искренними слезами смоет с нее оплаченные поцелуи. Из всего этого горя и стыда они создадут еще чистую любовь. Но, пока жив отец, Си-Шедли сам не имел ничего, и бесполезны были бы его просьбы о разрешении уехать.

И вот, бросив свою лавку, он начал бродить по кладбищам и развалинам предместья. Однажды он не вернулся домой. Напрасно отец искал его повсюду; Си-Шедли отправился туда, куда повлекло его сердце.

...Теперь заплакал и старик.

Долгое время скитался Си-Шедли по старинным улочкам и мавританским кофейням белой Аннебы (Бона) в поисках за Манубией. Он спрашивал о ней и тех, которые все не говорят о женщинах, он водил компанию и с теми, которые почти все свое время проводят в известных домах.

Прошел почти год со времени исчезновения мавританки. Постоянно сбиваемый противоположными указаниями, Си-Шедли прибыл, наконец, в Алжир.

Сидя однажды в кафе Баб-эл-Уэд, Си-Шедли встретил там одного из своих старых тунисских друзей, сделавшегося сержантом в стрелках. Они разговорились о прошлом.

— Манубия-бент-эль-Харуби?.. Я знал ее.

— Что случилось с нею?

— Пошли Господь покой душе ее!

Эта слова точно громом поразили Си-Шедли. Он почувствовал, как за ним захлопнулась дверь тюрьмы, из которой ему не выйти на свет Божий.

Итак, оставив родину, семью, богатство, сделавшись бродягою, он целый год искал свою подругу, все время терпя неудачу и никогда не теряя надежды... и все это лишь для того, чтобы узнать о ее смерти! -

— Но когда умерла она? Где умерла она?

— В Боне, куда она вернулась около месяца назад, живя до той поры в Алжире. У нее было какое-то тайное горе; она смеялась над всем и много пила... Она умерла от грудной болезни.

— Али, не знаешь ли ты, где ее могила?

— Нет. Но другая племянница Тебуры, Хауния, покажет тебе ее... Тебура также умерла.

Медленно опускаясь за голубые зубцы угрюмого Иду, вечернее солнце заливает своим красным светом священный холм, усаженный высокими черными кипарисами и смоковницами, где под разноцветными камнями спят правоверные необъяснимым сном могилы.

Ничего печального, ничего грустного на этом кладбище, полном цветов, виноградных лоз и кустарников. Здесь царит величавая тишина, безропотность и отсутствие каких бы то ни было сомнений.

В одном углу кладбища, под тенью молодой смоковницы, есть холмик, равный длине лежащего под ним женского тела. Он обложен белыми и синими фаянсовыми плитками, а на стоящих по обеим сторонам его каменных досках высечена следующая арабская надпись:

«Манубия-бент-Ахмед  
из Константина.  
К Богу возвращаются все существа.  
Нет Бога, кроме Бога,  
а Магомет Пророк Его».

Иногда, в волшебный час солнечного заката, у входа в этот молчаливый некрополь можно встретить человека в синей форме стрелка. Выглядывающее из-под красной шеи исхудалое и сильно загорелое лицо его точно закаменело от тяжелой внутренней катастрофы, и едва ли кто-нибудь из прежних знакомых узнал бы в этом суровом солдате бледного и элегантного мавра из Туниса.

В молчаливом, пропитанном всевозможными ароматами Сук-эль-Аттарине, на который Джемаа-Зитуна бросает свою великую и печальную тень ислама, в маленькой лавочке, уставленной разноцветными пахучими свечками, сидит старик. Опершись своею слабою рукою на перламутровый ларец и погрузившись в неподвижную думу, он в продолжение часов и дней не трогается с места, словно статуя.

Он сидит там, прислушиваясь к биению своего опустевшего и постепенно слабеющего сердца и думает о своем сыне, который не вернется, и о тех минутах, которые все ближе и ближе подводят его к могиле.



## В ДЮНАХ

Это было в конце осени, или, вернее, уже зимою 1900 г. С несколькими пастухами племени ребайя я кочевала в одном из пустынейших районов, к югу от Тайбет-Геблия, по дороге из Элүэда в Уаргла.

У нас было довольно многочисленное стадо коз и несколько верблюдов, худых и истощенных, — жалких остатков Ин-Салахской экспедиции, на долгое время обезверблюдившей Сахару.

Нас было восьмеро, считая в том числе моего слугу Али и меня. Мы помещались в большой и низкой палатке из козьей шерсти, которую разбили в небольшой долине между дюнами. После первых ноябрьских дождей начала появляться странная сахарская растительность. Мы проводили время в охоте за бесчисленными зайцами или в мечтательном созерцании покрытого барашковыми облаками горизонта.

Спокойствие и однообразие этого существования на открытом воздухе вызывали во мне нечто вроде интеллектуального и морального сна, весьма приятного и благотворно действовавшего на мою душу.

Мои товарищи были люди простые, но не грубые; они с уважением относились к моей молчаливости. Впрочем, и сами они были людьми малоразговорчивыми. Дни проходили мирно и спокойно, без происшествий и случайностей.

Но в одну ночь, когда мы спали в палатке, завернувшись в наши бурнусы, с юга подул сильный ветер, перешедший скоро в бурю, гнавшую перед собою тучи песка.

Хитрое стадо с блеянием столпилось у палатки и прижалось к ней так близко, что мы слышали дыхание коз. Некоторые из них успели забраться даже в палатку и водворились в ней с свойственным этому роду животных смешным упрямством.

Ночь была холодная, и мне против воли пришлось принять к себе маленького козленка, который настойчиво пролез под бурнус и улегся на моей груди, отвечая на все мои попытки изгнать его ударами своего упрямого лба.

Уставшие от долгого брожения в течение дня, мы скоро заснули, несмотря на жалобный вой ветра в лабиринте дюн и на шуршание песка, мелким дождем падавшего на палатку.

Внезапно мы снова разбужены были, не сознавая в первый момент, что именно случилось, но задыхаясь под какою-то большою тяжестью. Оказалось, что сильным порывом ветер опрокинул палатку и похоронил нас под ее развалинами. Нужно было на животе выползти не на свет Божий, а в темную ночь, где под чернильным небом буря неистовствовала с ужасающею силою.

Не было возможности ни поставить палатку в темноте, ни зажечь наш маленький фонарь. Могло быть около трех часов утра, и в ожидании рассвета мы предпочли лечь на открытом воздухе, а для этого Али должен был с большим трудом добыть несколько покрывал и бурнусов. Кроме того, нужно было спасти наказанных-таки за свою дерзость коз, сильно стонавших и бившихся под палаткою.

Задыхаясь под моим бурнусом, на который песок продолжал падать мелким дождем, и прислушиваясь к пугливому ржанию и топоту моей бедной лошади, привязанной к колу и бодаемой беспокойными козами, я не могла уже уснуть.

Ветер, наконец, утих почти совершенно. Али разложил большой костер из хвороста, и мы уселись вокруг огня, оцепенелые и утомленные. Один Али сохранил свое обычно веселое расположение духа и подшучивал над нашими погрязшими лицами.

Начинавшийся день обещал быть ясным и спокойным. Усеянная бесконечным количеством новых серых холмиков пустыня казалась застывшим после ночной бури морем.

Мне пришла мысль проскакать галопом по равнине, простиравшейся за поясом дюн, ограждавших нашу долину.

Али остался устраивать палатку и приводить в порядок наше маленькое хозяйство, засыпанное песком и разброшенное в течение ночи. Он советовал мне, однако, не удаляться на большое расстояние от кочевки.

Но не тут-то было! Едва только очутилась я на равнине и отдала поводья моему верному «Суфу», славное животное, энергированное бурною ночью, рванулось вперед, как стрела.

Долго неслась я с головокружительною быстротою, опьяняемая пространством и великолепием зарождающегося дня.

С большим трудом переведя, наконец, моего коня на шаг, я повернулась в седле и увидела, что заскакала слишком далеко...

Не находя нужным торопиться возвращением на кочевку, я вздумала проехаться по холмам, замыкающим собою долину. Направившись к западу, я очутилась в лабиринте дюн, подымавшихся все выше и выше.

Среди них были долины, очень похожие на нашу, и на этих ровных местах я, чтобы не терять времени, пускала «Суфа» рысью.

Мало-помалу небо снова начало покрываться облаками, хотя ветер не усиливался. Если бы не ночная буря, которая высушила и переместила верхний слой песка, такое слабое движение воздуха не могло бы вызвать никаких изменений на поверхности почвы. Но последняя приведена была в состояние мельчайшей пыли, продолжавшей сама собою стекать с обрывистых дюн. Я заметила, что мои следы исчезают весьма быстро.

После часа езды я начала удивляться тому, что не вижу кочевки. Было уже довольно поздно, жара становилась тяжелою. Однако, ведь я же действительно ехала к западу?..

Наконец, я остановилась, поняв, что направились не по тому пути и, вероятно, миновала нашу долину.

Меня начало брать сильное смущение. Куда же мне следовало направиться теперь? Переехала ли я дорогу или не доехала до нее, т. е. нахожусь ли я к северу или к югу от кочевки? Рискую заблудиться окончательно, я решила взять северное направление, которое, во всяком случае, было наименее опасным.

Но, проехав час в эту сторону и не видя пред собою ничего утешительного, я повернула опять к югу.

Было уже три часа пополудни, и мое неприятное приключение уже не забавляло меня больше. В капюшоне бурнуса у меня был всего лишь один арабский хлебец и бутылка холодного кофе. Я начала спрашивать себя, что будет со мною, если я не найду дороги до наступления ночи.

Оставив «Суфа» в одной долине, я вскарабкалась на самую высокую дюну. Вокруг себя я видела только серые волны холмов и не могла понять, каким образом ухитрилась я в такое короткое время заблудиться до такой степени.

Не желая, наконец, продолжать бесцельное брожение и опасаясь быть захваченною ночью в таком бесплодном месте, где моя лошадь, уже страдавшая от жажды, могла бы не найти и травы, — я принялась искать удобную для ночлега долину.

Завтра с зарею, думала я, отправлюсь к северу и найду дорогу на Тайбет...

Я нашла небольшую продолговатую и глубокую долину с довольно густою и удивительно зеленою растительностью. Освободив «Суфа» от сбруи и пустив его на траву, я отправилась исследовать мой «остров Робинзона».

Почти посредине долины я нашла небольшое пространство, на котором виднелась еще не смешавшаяся с песком кучка золы и валялись кости зайца. Очевидно, здесь ночевали охотники. Может быть, они вернутся снова?

Эти охотники Сахары — люди грубые и первобытные, проводящие жизнь под открытым небом, там, где придется. Некоторые из них оставляют свои семьи далеко в оазисах, другие представляют собою настоящих детей песков, скитающихся вместе с женами и детьми. Их жизнь так же проста и несложна, как жизнь газелей пустыни.

Среди охотников есть немало людей, бежавших от правосудия. Но в этих местах, еще довольно близких к городам и селениям, такие «раскольники», как их зовут на чиновничьем языке, довольно редки, и мне хотелось поскорее увидеть тех охотников, следы которых я нашла, для того, чтобы поскорее выйти из моего смешного положения. В каком страхе за меня должны были быть мои товарищи, в особенности мой верный Али!



Радостное ржание вывело меня из этих размышлений: моя лошадь, приблизясь к очень густой и очень зеленой чаще и просунув голову в ветви, обнюхивала что-то необычайное.

...Среди кустарников находился один из многочисленных в Сахаре «хасси», т. е. узких и глубоких колодцев, довольно часто встречающихся в стороне от всех дорог и известных только проводникам. Почти роскошная зелень долины объяснялась присутствием этой воды на небольшой глубине.

Я принялась черпать ее бутылкою, привязанною к поясу.

Вдруг сейчас же за своею спиною я услышала чей-то голос:

— Эй ты, что ты там делаешь?

Я повернулась. Передо мною стояли три сильно загорелых, почти черных человека, одетых в лохмотья, с легким багажом в полотняных мешках и с кремневыми ружьями.

— Я хочу пить.

— Ты заблудился?

— Я кочую недалеко отсюда с ребайскими пастухами.

— Ты мусульманин?

— Милостью Божией, да!

Тот, который обратился ко мне с этими словами, был почти старик. Он протянул руку и прикоснулся к моим четкам.

— Ты принадлежишь к братству Сиди-Абд-эль-Кадер-Джилани... В таком случае, мы братья... Мы также Кадрийя.

— Слава Всевышнему! — сказала я.

Я испытала большую радость, встретив в этих кочевниках моих собратьев: между членами одного и того же братства взаимная помощь является обязательною. Действительно, они также носили четки Кадрийя.

— Погоди, у нас есть веревка и ведро, мы напоим твою лошадь, и ты переночуешь с нами; завтра утром мы проводим тебя к твоей кочевке. Ты сильно уклонился к югу, миновав кочевки ребайя, и теперь, идя напрямик, тебе нужно по крайней мере три часа.

Самый молодой из них захохотал:

— Ты, я вижу, шустрый!

— А вы из какого племени?

— Я и мой брат — мы Уледы Сейха из Тайбет-Геблия, а этот — Ахмед-Бу-Джема — шаамбец из окрестностей Бере-софа. У его отца был огород в Элуэде, в колонии Шаамба, в селении Элакбаб. Он убежал, бедняга...

— Почему?

— Из-за податей. Он отправился в Ин-Салах с нашим шейхом, Сиди-Магометом-Таиебом, а когда возвратился, то нашел жену умершею от тифа, а огород пустующим; и вот он убежал в пустыню — из-за податей.

Молодой сейхиец, говоривший мне это, привлекал мое внимание примитивностью своего лица и мрачным блеском своих карих глаз. Он мог бы служить типом кочевнической расы, смешанной с азиатскими арабами.

Ахмед-Бу-Джема, худой и гибкий, казался вторым по старшинству возраста, по крайней мере, насколько можно было судить об этом по верхней части лица, так как нижняя была закрыта черною вуалью, как у туарегов.

Самый же старший из троих имел красивую голову старого дорожного грабителя — орлиную и мрачную.

У Ахмеда-Бу-Джема висели на поясе два великолепных зайца. Он отошел немного от колодца и, произнеся «Бис-миллах!», принялся потрошить свою дичь.

Солнце уже скрылось за дюнами, и последние розовые лучи дня скользили по земле между остроконечными листьями джигды. В вечернем освещении кусты «дринна» казались золотистыми.

Старший из двух братьев, Селем, отойдя от нашей группы, разложил на песке свой рваный бурнус и начал молиться, сделавшись сразу важным и точно выросшим.

— У вас есть какая-нибудь семья? — спросила я младшего, Хаму-Срира, в то время как мы рыли в песке ямку, чтобы зажарить зайцев.

— Жена и дети Селема находятся в Тайбете, а моя жена в садах Ремирма в Уэде-Рир, у своей тетки.

— Ты не скучаешь о своей семье?

— Судьба зависит от Бога. Скоро я пойду искать свою жену. Когда дети Селема вырастут, они будут такими же охотниками, как их отец.

— Ин-ша-Алла!

— Аминь!

Все восхищало и привлекало меня в свободной и беззаботной жизни этих детей величественной и мрачной Сахары.

Свернув зайцев в комок, мы положили их вместе с мехом на дно ямки и покрыли тонким слоем песка. Затем разложили над ними большой костер из хвороста.

— Значит, ты взял свою жену из племени руара?

Хама-Срир сделал неопределенный жест.

— А, это целая история! Ты знаешь, что мы, арабы пустыни, никогда не женимся вне нашего племени.

Роман Хама-Срира задел мое любопытство. Расскажет ли он мне его? Эта история была, вероятно, проста, но она несомненно носила на себе отпечаток той своеобразной грусти, которою проникнута вся жизнь пустыни.

После ужина Селем и Бу-Джема скоро заснули. Хама-Срир, полулежа возле меня, достал свой «матуй» (маленький мешочек из красного сафьяна для кифа) и трубочку. Я также носила в кармане моей гандуры эти знаки отличия настоящего суфийца. Мы начали курить.

— Хама, расскажи мне твою историю!

— Зачем? Почему интересуешься ты тем, что делают люди, которых ты не знаешь?

— Я избираю тебя своим братом во имя Абд-эл-Кадера-Джилани.

— Я также.

И он пожал мне руку.

— Как тебя зовут?

— Махмуд-Бен-Абдалла-Саади.

— Слушай, Махмуд, если бы я не избрал тебя своим братом, если бы мы не были братьями уже по нашему шейху и четкам, и если бы я не видел, что ты талеб, — я бы очень рассердился на тебя за твой вопрос, ибо у нас не в обычае, как ты знаешь сам, говорить о своей семье. Но слушай, и ты

увидишь, что «мектуб» всемогуществен и отворотить его не может никто.

Два года перед этим Хама-Срир охотился с Селемом в окрестностях борджа<sup>1</sup> Стаа-эль-Хамрайя в районе больших солончаков, по дороге из Бискры в Элуэд.

Это было летом. В одно утро Хама-Срир был ужален рогатою змеею «лефаа» и прибежал в бордж, где старая теща сторожа, уроженка Уэд-Рира, умела исцелять все болезни — по крайней мере, те, которые Бог позволяет лечить.

Сторож вместе с своим сыном отправился в Элуэд, и в бордже осталась старуха Мансура и ее уже немолодая невестка Теббера. К вечеру Хама-Срир не испытывал уже почти никакой боли и оставил бордж, чтобы идти к брату, оставшемуся у солончака Бу-Джелуд. Но у него была маленькая лихорадка, и ему хотелось пить. Он спустился к колодцу, находившемуся у подножия красноватого и голого холма Стаа-эль-Хамрайя.

Там встретил он старшую из дочерей сторожка, Саадию, которой было тринадцать лет и которая, женщина уже, была красива в своих синих лохмотьях. Саадия улыбнулась кочевнику и пристально посмотрела на него своими карими глазами.

— Через две недели, — сказал он, — я приду просить тебя у твоего отца.

Она покачала головою.

— Он не согласится никогда. Ты слишком беден, ты — охотник.

— Все равно я возьму тебя, если Бог решил так. Ступай теперь в бордж и храни себя для Хамы-Срира, — для того, кому ты обещаю Богом.

— Аминь!

Медленно, согнувшись под тяжелою «гербой», т. е. козым бурдюком, полным воды, она пошла по крутой дорожке в свой уединенный бордж.

---

<sup>1</sup> Бордж — крепость, форт (араб.) (Прим. ред.).

Хама-Срир не сказал ничего Селему о своей встрече, но сделался задумчивым.

«Никогда не следует говорить о своих любовных делах, это приносит несчастье», — решил он.

Каждый вечер, когда заходящее солнце заливало своим кровавым светом пустыню, Саадия выходила к фонтану, ожидая «того, кто обещан был ей Богом».

Однажды в жаркий полдень, когда она вышла в пустыню, чтобы загнать в тень стадо коз, ей показалось, что она падает в обморок: она увидела человека, одетого в длинную гандуру, белый бурнус и вооруженного длинной кремневкой, который подымался в бордж.

Поспешно удалилась она в угол двора, где было их скромное жилище, и, дрожа всем телом, начала потихоньку молиться Джилани, «эмиру святых», так как сама она принадлежала к числу его духовных детей.

Человек вошел во двор и обратился к старому сторожу:

— Абдалла-Бен-Хадж-Саад, — сказал он, — мой отец был охотник, он принадлежал к племени торфа Улед-Сейха, города Тайбег-Геблия. Я человек незапятнанный и моя совесть чиста, — это знает Бог. Я пришел просить у тебя позволения войти в твой дом, я пришел просить у тебя твою дочь.

Старик нахмурил брови:

— Где ты ее видел?

— Я не видел ее. Старые женщины Элуэда говорили мне о ней... Такова судьба.

— Клянусь всеми истинами священного Корана, до тех пор, пока я жив, никогда моя дочь не будет женою бродяги!

Долгим взглядом посмотрел Хама-Срир на старика.

— Не клянись тем, чего не знаешь... Не играй с соколом; он летает в облаках и смотрит в лицо солнцу. Утри слезы с твоих глаз, которые Бог закроет в скором времени!

— Я поклялся!

— Шуф Рабби! (Бог увидит), — сказал Хама-Срир и, повернувшись, пошел со двора.

Негодующий Си-Абдалла вошел в дом и, обратясь к Саадии и Амборке, сказал:

— Которая из вас двух, суки, показала свое лицо бродяге?

Обе молодые девушки молчали.

— Си-Абдалла, — ответила за них старуха, — бродяга был здесь месяц назад. Он приходил лечиться от укуса «лефаа». Моя дочь Теббера, уже немолодая, помогала мне. Бродяга не видел ни одной из дочерей Тебберы. Мы обе старые, время ходжеба (замкнутости для арабских женщин) прошло для нас. Мы лечили бродягу согласно велениям Божиим.

— Смотри за ними, и чтобы они не выходили больше!

Опечаленная в душе, Саадия продолжала, однако, ждать Хаму-Срира, ибо она знала, что если Господь действительно предназначил ее ему, то никто в мире не может помешать их союзу.

Она любила Хаму-Срира и не теряла надежд.

Прошло около месяца с той поры, как охотник приходил в бордж просить Саадию. В течение этого времени он не показывался, но он был недалеко, и каждую ночь злые собаки Стаа-эль-Хамрайя лаяли с ожесточением...

Однажды, когда Теббера была больна, Си-Абдалла приказал Саадии сходить за водою к фонтану и возвращаться скорее.

Было уже поздно, и молодая девушка, спускаясь с холма, дрожала всем телом.

Полная луна подымалась над пустыней. В глубоком молчании ночи собаки борджа задыхались и хрипели от яростного лая.

В то время, как Саадия, опустив руки в бассейн, наполняла водою свою гербу, она заметила тень человека, мелькнувшую между фиговыми деревьями сада.

— Саадия!

— Хвала Всевышнему!

Хама-Срир схватил ее и потащил за собою.

— Я боюсь! я боюсь!..

Ее дрожащая рука очутилась в сильной руке кочевника, и они бегом пустились через солончак Бу-Джелуд по направлению к Уэду-Рир...

Пробежав некоторое расстояние, Хама-Срир подхватил молодую девушку на руки и пустился далее. Он знал, что этот час принадлежал ему и что вся жизнь была против него.

Он бежал до тех пор, пока лай собак не затих в отдалении.

Удивленный и рассерженный сильным опозданием дочери, старик вышел из борджа и окликнул ее несколько раз. Но его голос потерялся в тяжелом молчании ночи. Почуввав недоброе, он поспешно вернулся в избу, схватил ружье и пошел к фонтану.

Черпальный бак плавал на поверхности воды, а пустая герба лежала, распростертая на земле.

— Сука, она убежала с бродягою! Будьте же вы прокляты!

Раздраженный, но без слез и жалоб вернулся он к себе.

— Тот, кто произведет на свет дочь, должен задушить ее сейчас после рождения, чтобы в один день позор не ворвался в дверь его дома, — сказал он, входя в избу, — жена, у тебя осталась только одна дочь... хотя много и этой!.. Ты не умела смотреть за дочерьми.

Обе старухи и Амборка начали плакать и причитать, точно по покойнику, но Си-Абдалла приказал им замолчать.

Долго бежали влюбленные по бесплодной пустыне.

— Остановись, — молила Саадия, — мое сердце сильно, но мои ноги разбиты... Мой отец стар, но он горд. Он не будет преследовать нас.

Они присели на соленую землю, и Хама-Срир задумался. Он сдержал слово, Саадия была его, но на сколько времени?

Он решил, наконец, чтобы избежать преследований, отвести ее в Тайбет и там перед собранием своего племени объявить ее своею женою еще до религиозного обряда.

Усталая и испуганная, Саадия лежала возле своего господина. Он наклонился над нею и поцелуем успокоил ее еще сильно бившееся сердце...

Четыре ночи шли они, питаясь финиками и «меллою» Хамы-Срира. Днем же, из опасения «дейра» и спаисов Элуэда, они прятались в дюнах.

Наконец, на рассвете пятого дня, они увидели вдалеке серые стены и низкие купола Тайбет-Геблия.

Введя Саадию в дом своих родителей, Хама-Срир сказал им:

— Вот моя жена. Берегите и любите ее так же, как вашу дочь Фатьму-Зору.

Когда они объявлены были мужем и женою перед собранием племени, Хама-Срир сказал Саадии:

— Для того, чтобы Бог благословил наш брак, нужно, чтобы твой отец простил нас. Иначе он, твоя мать и твоя бабушка, которая лечила меня, могут умереть с сердцем, закрытым для нас. Я отведу тебя в твою землю, к твоей тетке Ум-эль-Ааз. Что же касается меня, то я знаю, что мне нужно делать.

На другой день с зарею он посадил закрытую вуалью Саадию на отцовского мула, и они отправились в Уэд-Рир.

Они пошли через Мезгарин-Кедина, чтобы обойти Тутурт, и скоро достигли влажных садов Ремирмы.

Ум-эль-Ааз была стара и слыла хорошею бабкой и знахаркой. Ее уважали, а более суеверные побаивались.

Одетая в темно-красные одежды, высокая и худая, она лицом походила на мумию, украшенную золотыми драгоценностями. Ее черные глаза сохранили еще свой блеск. Молча и с суровым видом выслушав Хаму-Срира, она приказала ему написать от ее имени письмо к отцу Саадии.

— Си-Абдалла простит, — сказала она с какою-то странною уверенностью. — К тому же, он уж недолговечен.

Хама-Срир отправился в оазис и нашел талеба, который за несколько копеек написал письмо:

«Слава Богу Единому! Привет и мир да будут над избранником Божиим!

Досточтимому, тому, который следует по прямому пути и делает добро, согласно велениям Всевышнего, благочестивейшему и вернейшему, отцу и другу, Си-Абдалле-бель-Хаджу-Сааду, в бордж Стаа-эль-Хамрайя, в Суфе. Привет



тебе и милосердие Божие и Его благословение навсегда! Затем, знай, что твоя дочь Саадия жива и здорова, — да будет слава Всевышнему! — и что она не имеет других желаний, кроме того, чтобы быть с тобою, и с ее матерью, и ее бабушкой, и ее сестрою, и ее братом Си-Мохамедом в час близкий и благословенный. Знай еще, что я пишу тебе эти строки по приказу твоей свояченицы, госпожи Ум-эль-Аазбент-Мануб-Рири, в доме которой живет твоя дочь. Узнай, что я взял в жены, по закону Божьему, твою дочь Саадию и прошу у тебя благословения, ибо все, что случается, случается по воле Бога. После этого остается лишь скорый и благоприятный ответ и пожелания всякого добра. Привет тебе и твоей семье от того, кто пишет это письмо, твоего сына и бедного слуги Божьего Хама-Срир-бен-Абдерахман-Шерифа».

Когда письмо дошло до старого Абдаллы, он, будучи неграмотным, отправился в Гемар, в заюю Сиди-Абд-эль-Кадера. Один из мокадемов прочел ему письмо и, видя его колебания, сказал:

— Тот, кто находится у источника, не уходит не напившись. Ты находишься у дома нашего шейха и не знаешь, что тебе делать: поди и попроси у него совета.

Абдалла посоветовался с шейхом, который сказал ему:

— Ты уже стар. Не сегодня-завтра Господь может призвать тебя к Себе, ибо никто не знает часа своей судьбы. Лучше оставить в наследство цветущий сад, нежели груды развалин.

И вот, повинуясь потомку Джилани и его представителю на земле, Си-Абдалла снова пошел к мокадему и попросил его сочинить ему письмо к похитителю:

«И мы извещаем тебя настоящим, что мы простили нашу дочь Саадию — да ниспошлет ей Господь разум! — и что мы призываем благословение Божие на нее навсегда. Аминь. И привет да будет тебе от бедного и слабого слуги Господня Абдалла-бель-Хаджа».

Письмо было отправлено.

Молчаливая, суровая Ум-эль-Ааз очень мало говорила с Саадией. Она или готовила разного рода питье или гадала по лопаткам убитых во время весенних празднеств баранов, кофейной гуще, маленьким камешкам и внутренностям только что зарезанных животных.

— Абдалла прощает, — сказала она Хаме-Сриру, погадав на камешках, — но сам он проживет недолго... час его близок.

Саадия начала задумываться и однажды говорит своему мужу:

— Отведи меня в Суф. Я должна видеть моего отца, прежде чем он умрет.

— Подожди его ответа.

Ответ прибыл. Тогда Хама-Срир снова посадил Саадию на отцовского мула, и они отправились на северо-восток, через высохший Шотт-Меруан.

В бордже Стаа-эль-Хамрайя устроен был большой праздник. Родители не сказали Саадии ничего, потому что час объяснений уже прошел,

На пятый день Хама-Срир отвез свою жену в Ремирму.

В следующем месяце старая Ум-эль-Ааз получила письмо, извещавшее ее о том, что ее шурин милосердием Божиим взят в селения праведных.

— Каждый месяц я отправляюсь в Ремирму, к моей жене, — сказал мне Хама-Срир, заканчивая свой рассказ. — Бог не дал нам детей.

Затем, помолчав несколько секунд, он тихо и с боязнью добавил:

— Может быть, потому, что мы начали в хараме (беззаконии). Ум-эль-Ааз говорит это... Она знает...

Было уже очень поздно. Осенние созвездия склонились уже над горизонтом, торжественная тишина и безмолвие царили над пустыней. Завернувшись в наши бурнусы возле потухавшего костра, мы мечтали — он, кочевник, пылкая душа которого делилась между торжествующею страстью и боязнью темных сил, грезил своей Саадией, а я, одинокая, убаюканная его идиллией, думала о всемогущей любви, господствующей над душами сквозь тайну судеб.

## ФЕЛЛАХ

Жизнь феллаха монотонна и печальна, как пыльные дороги его страны, змеящиеся до бесконечности между бесплодными, красноватыми при солнечном свете холмами. Она представляет собою длинную цепь маленьких нужд, маленьких страданий, маленьких несправедливостей. Драма врывается в нее редко и, если случайно нарушит однообразие дней, то и сама покорностью действующих лиц и готовностью их ко всему приводится к весьма ясным и минимальным размерам.

Вот почему в моем правдивом рассказе не будет ничего, что ждут обыкновенно читатели от арабской повести, — ни фантазии, ни интриг, ни приключений. Ничего, кроме нищеты, падающей капля по капле.

Сильный и страшно холодный, несмотря на солнце, ветер дул с моря. Одетый в грязное, желтого цвета платье, Мохамед Айшуба медленно тащился за первобытною сохою, запряженною двумя маленькими худыми кобылками выродившейся от произвольных скрещиваний породы. Он делал большие усилия, чтобы углубить тупой сошник в красную каменистую почву. По привычке, а также по недостатку инструментов и смелости, Мохамед обходил группы мастиковых деревьев и большие камни, ни разу не попытавшись очистить от них свое поле, — наследственный и неделимый «мельк» Айшубов.

Уцепившись за грязную гандуру отца, маленький Маммар, сын Мохамеда, упрямо следовал бороздою, на которой со временем и он, вероятно, будет подталкивать старую соху.

Мохамед приближался уже к пятидесяти годам. Высокий, сухой и костлявый, он имел продолговатое лицо, обрамленное короткою черною бородою. Выражение его темно-коричневых глаз было, в одно и то же время, хитрое, недоверчивое и замкнутое.. Но когда маленький Маммар слишком близко подходил к сохе, отец бережно отстранял

его рукою, и его глаза менялись. В них появлялась улыбка, освещавшая темноту взгляда, накопленную веками рабства.

Рваное покрывало, брошенное на голову и дополнявшее собою лохмотья Мохамеда, окончательно придавало ему вид библейского хлебопашца.

Поле расположено было на склоне косогора, среди хаоса холмов, над которыми подымалась голубоватая стена высоких гор.

Напротив, по другую сторону оврага, виднелись хижины Рабтов, из племени майнов.

Гурби<sup>1</sup> Айшубов находилось несколько в стороне, у подножия красной скалы. Оно состояло из четырех стен, сложенных из камня, с щелями, забитыми землею и травою, и крыши из «дисса». Единственным отверстием была очень низкая дверь, точно вход в берлогу. Плетень из шиповника и ветвей мастикового дерева днем скрывал женщин, а ночью служил убежищем для стада.

Мохамед был старшим, главою семьи. Два младших брата его жили под его крышей. Первый, Маджуб, был женат. Не интересуясь полевыми работами, он разводил овец и коз и посещал базар. Самый младший, Беналия, не походил на своих братьев. Ему было восемнадцать лет, и он отказывался жениться.

Он пас стадо и занимался браконьерством в горах. Вор при случае, неисправимо дурной человек, несмотря на крупные меры братьев, он целые дни проводил, сидя на скале и играя на бедуинской свирели или сочиняя песни. Во всем племени, может быть, только один он видел и чувствовал красоту окружающей природы, грозные тучи, собиравшиеся на вершинах темных гор, и улыбку солнца в долинах.

В хижине Беналия хранил почти презрительное молчание. Он не вмешивался ни в деловые споры старших братьев, ни в бесконечные пререкания женщин.

Последних в полутемной хижине Айшубов было много. Мохамед имел двух жен и Маджуб одну. Кроме того, были

---

<sup>1</sup> Хижина грубой постройки (араб.) (Прим. ред.).

сестры, еще незамужние или уже разведенные, старые тетки и мать Айшубов, — престарелая бабка малышей, выраставших на спинах женщин, согнувшихся раньше времени. Это был своего рода двор, требовательный, хитрый, хотя и боязливый.

В то время, когда мужчины находились вне дома, женщины мололи зерно в маленькой, но очень тяжелой старой мельнице и пекли лепешки в земляной печи, походившей на гигантскую кротовину, закрывавшуюся котлом, налитым до половины водою.

В свободное время Мохамед и Маджуб, подобно другим мужчинам их племени, отправлялись посидеть на старых циновках возле одной хижины, где человек в блузе и тюрбане продавал кофе и чай.

Там говорили медленно, бесконечно, с озабоченностью крестьян, всегда внимательных к речам о земле; вычисляли урожай, сравнивали года, вспоминали последний базар.

Базар играет большую роль в жизни бедуина. Он действует на воображение феллахов, очень гордящихся базаром своего племени. «Он ходит уже на базар», — говорят обыкновенно о молодом человеке, достигшем зрелости.

Иногда кто-нибудь передавал наивную и стершуюся на языках сказку о кладе, спрятанном в горах и охраняемом духами, старинные легенды или прикрашенные рассказы о многочисленных еще и до сих пор пантерах и львах.

Набожность у этих берберских горцев накожная, а невежество в исламе полное. По религиозным счетам расплачиваются своими молитвами лишь старики. Но в то же время, марабу находятся в большом почитании. Страна усеяна куббами или святыми местами, куда весьма охотно идут на поклонение.

У айшубов один только Мохамед молился и носил на шее четки братства Шадулия...

В общем, дни этих людей текли в оцепенении покорности и однообразии нищеты, не знающей просвета.

Земледельческий год не предвещал ничего хорошего. Во время зимних посевов дожди растворили землю и превра-

тили арабские дороги — крутые и извилистые тропинки — в потоки. В ожидании плохого урожая мааш (тяжелые бруски черного хлеба) становился дороже; заплатить подати будет трудно, и глухой стон и жалобы начали подыматься с холмов и долин.

Но ни в разговорах, ни в поступках феллахов не было ничего тревожного. Они всегда были бедны. Их земля всегда была твердая и каменистая. У них всегда был бейлик<sup>1</sup>, которому нужно было платить подати. От своего золотого века бедуины не сохранили никаких воспоминаний.

Они жили короткими надеждами, в ожидании ближайших событий, долженствовавших принести немножко благополучия хижине: «Если Бог захочет, — урожай будет хороший...» или «Продадим телят и овец и получим немножко денег». Все это, даже в самом лучшем случае, не меняло течения жизни, но надежда скрашивала время и облегчало тяжесть нищеты.

...По своей природе бедуин ябедник и сутяга. Он полагает необходимостью своей жизни, почти почетом, иметь процесс в суде, вмешивать власти в свои дела, даже домашние. Мохамед Айшуба и его брат много раз судились друг с другом не только у каида, но и у администратора, продолжая жить вместе.

В гурби главною зачинщицею ссор была Ауда, старшая из двух жен Мохамеда. Многословная и сварливая, она испытывала неодолимую потребность в брани, криках и сплетне. Когда ругань начинала переходить за пределы обыкновенного, Мохамед брал матрак и, отхлестав им свою жену, водворял на несколько часов спокойствие. Но хитрость и злость Ауды были безграничны. В особенности ненавидела она Лалию, младшую жену своего мужа, кроткую, красивую, едва достигшую брачного возраста. Та вечно отмалчивалась, вынося все прижимки Ауды и даже называя ее леллю (госпожою).

Не проявляя особой нежности, Мохамед, тем не менее, любил Лалию. Возвращаясь с базара, он каждый раз прино-

---

<sup>1</sup> Beylek (тур.) — государство (разг.) (Прим. ред.).

сил ей какой-нибудь подарок, усиливая этим ненависть и зависть Ауды.

Последняя имела от мужа двух детей, девочек, и считала, что ее материнство помешает мужу прогнать ее. Но девочки были уже довольно большие, а любимец Мохамеда, Маммар, был сын Хадиджи, первой жены, которая умерла. Таким образом связь, прикреплявшая Мохамеда к Ауде, была довольно слаба.

Как это обыкновенно водится у берберов гор, родители Ауды еще более настраивали ее против мужа, чтобы вызвать развод с его стороны, ибо в таком случае он терял «седак» — выкуп за жену, которую они отдали бы снова за муж, получив за нее новую сумму денег.

Окончив пахать, Мохамед перемерил зерно и с болью в сердце увидел, что его не хватит на обсеменение поля. Не хватало на пятнадцать франков. Где взять эти деньги? Пойдет ли он, как в предшествовавшие годы, к г. Фаге или к кабиллам, живущим в «центрах» Монтенот и Кавеньяк? Как одному, так и другим он должен был уже несколько сот франков. Его земля и стадо Маджуба служили обеспечением.

У него продали уже с публичного торго ячменное поле и три отличных фиговых дерева, которые г. Фаге купил через одного из своих «хамме».

Ростовщики! И все же только одни они могли помочь его горю, ибо засеять нужно было во что бы то ни стало.

Мохамед принялся высчитывать, к кому лучше обратиться: г. Фаге одолжит ему зерно натурой по двойной базарной цене; кабиллы<sup>1</sup> за пятнадцать франков наличными деньгами заставят его подписать вексель на тридцать...

Думая о ростовщиках, Мохамед медленно шел вдоль своего поля. Холодный ветер с воем налетал на него, забираясь в старый разорванный бурнус, висевшую лохмотьями ганду-

---

<sup>1</sup> Т. е. кабилы, один из берберских народов северного Алжира (*Прим. ред.*).

ру, и точно выплакивая свою неизмеримую печаль вокруг этой человеческой печали.

«Центр» Три Пальмы, или, по-арабски, Бузрайя, представляет собою поселок, созданный властями. Колонизационные участки выкроены были из лучших земель, принадлежавших племенам хеми и багадура. Несмотря на это, европейский поселок обязан своим относительным процветанием только большому арабскому базару, бывающему по пятницам.

На пыльном косогоре, под эвкалиптами с покрасневшею от холодов листвою, собирается большая толпа; бурнусы серые, бурнусы коричневые, бурнусы белые. Среди криков людей и животных бедуины ходят взад и вперед. Одни прибывают, другие устраиваются. Всех этих людей сгоняет сюда одна мысль — о наживе. Продать возможно дороже, купить возможно дешевле, по нужде обмануть — вот цель всей этой пестрой толпы, смешанной из европейцев, арабов, кабиллов и жидов...

Мохамед и Маджуб отправились на базар с зарею. Всю дорогу они шли вместе, сопровождаемые младшим братом Беналией, гнавшим перед собою трех коз, которых Маджуб хотел продать. Мохамед ехал верхом на своей маленькой кобылке, имея за собою на крупе Маджуба, Беналия же шел пешком, напевая:

«Пастух был на горе. Он был маленький; он был сирота. Он играл на свирели. Он пас овец и коз Белькассема. С наступлением ночи из леса вышла пантера; она пожрала маленького пастуха и его стадо... Дети Белькассема оплакивали прекрасное стадо чудных коз... Никто не плакал по маленьком пастухе, потому что у него не было отца...»

Беналия импровизировал, и его молодой и сильный голос эхом отдавался в лесу и горах. Бессознательный поэт, он говорил правду о своей расе и воспевал действительную жизнь ее. Но, вор и бездельник, он не пользовался уважением людей своего племени...

Прибыв на базар, три брата разошлись, по арабскому обычаю, в разные стороны. Мохамед, имевший с собою для



продажи лишь небольшой кувшин масла, сейчас же отправился на поиски заимодавца-кабилла.

В синей блузе и желтом тюрбане, высокий и худой, «зуауи»<sup>1</sup> развязывал большой пакет платков и ярких ситцев. Увидя Мохамеда Айшубу, он улыбнулся.

— А, ты снова? Дело, значит, неважно? Ну что, рассказывай!

— Слава Богу, во всяком случае! Все идет хорошо.

— Тебе нужны деньги?

— Да, отойди в сторону, поговорим.

— Ты должен мне уже двести франков. Ты должен также другим и даже г. Фаге.

— Я плачу проценты. Я работаю теперь только на вас и на подати.

— Я не дам тебе больше под такой процент. Это слишком мало, так как приходится долго ждать.

— Ты не мусульманин! Бог запретил тебе одолжать деньги даже под копеечный процент.

— Мы делим грех: мы одолжаем, а вы, арабы, занимаете. Если бы не ваша жадность, кому бы одолжали мы?

— Это жида научили вас этому ремеслу?

— Довольно. Хочешь ты денег или нет? И сколько тебе нужно?

— По цене зернового хлеба, шестнадцать франков.

— Шестнадцать франков... Ты дашь мне расписку на тридцать два франка.

— Вот жидовский промысел! Откуда же я буду платить тебе такие проценты?

— Устраивайся.

Торг был долгий и страстный. Мохамед защищался в надежде оттягать хоть несколько копеек. Каси, видя, что он держит свою добычу за горло, спокойно зубоскалил. Наконец, бедуин сдался, и сделка состоялась. Завтра утром они пойдут к переводчику, напишут документ и, чтобы не противоречить закону, поставят спасительную фразу: «Сумма получена зерном». Мохамед Айшуба получит шестнадцать фран-

---

<sup>1</sup> Разговорное обозначение кабиллов (*Прим. ред.*).

ков для того, чтобы засеять поле, а после жатвы заплатит вдвое.

С наступлением ночи он завернулся в свой бурнус и лег у арабского кафе. Его начала мучить беспокойная мысль. При плохом урожае, который будет несомненно, так как год начался сильными холодами и проливными дождями, каким образом будет уплачивать он все эти долги, которые упадут на его голову в августе месяце? «Бог поможет», — успокоил он себя и сейчас же заснул.

В отсутствие мужчин старая морщинистая женщина с крючковатым носом и маленькими, живыми и сверлящими, точно буравчики, глазами вошла в гурби Айшубов. Это была мать Ауды, жены Мохамеда.

Она отвела свою дочь в угол и с запальчивостью, размахивая своими высохшими руками, на которых позвякивали серебряные браслеты, начала говорить ей шепотом:

— Ослица, зачем ты остаешься у своего мужа? Ты хорошо знаешь, что другие женщины твоих лет хорошо одеваются; мужья нежат и берегут их. Посмотри, как обращается он с этою сукой, Лалией, которую предпочитает тебе. Зачем же ты остаешься у него? Беги к отцу. Если муж вздумает взять тебя силою, — иди к администратору. После этого Айшуба не захочет тебя, ибо он держится обычая, а когда ты нарушишь обычай и покажешь свое лицо «руми» (неверным) — он откажется от тебя... Тогда мы найдем тебе другого, лучшего мужа.

— Я боюсь.

— Скотина! Разве ты не веришь мне? Разве я хочу тебе зла? И чего ты боишься? Нет у тебя отца, что ли, а твои два брата — разве они не львы?

Подперев щеку ладонью, Ауда задумалась. Она не питала никакой привязанности к мужу и боялась его. Если она ревновала его к Лалии, то это никоим образом не было чувство женщины, оскорбленной в ее любви и достоинстве, а просто — Мохамед приносил Лалии украшения и подарки, Ауда же была завистлива.

Ауда решила.

— В понедельник они будут на базаре в Монтеноте. Скажи моему отцу и моим братьям, чтобы они пришли за мною с серым мулом.

— Сделай сначала своему мужу сцену. Скажи ему дать тебе такие же вещи, как Лалии, и позволить тебе провести несколько дней с нами. Он не согласится, а ты настаивай. Он побьет тебя; тогда со вторника, если он не откажется от тебя, мы пойдем жаловаться администратору,

Во время этого разговора в гурби вошла заплаканная женщина. Это была Айша, соседка. Она присела в углу и начала плакать. Молодая еще, она была бы недурна собою, если бы не татуировка, покрывавшая ее лоб, щеки и подбородок.

— Что с тобою, дочь моя? — спросила старуха. — Не больны ли твои дети?

— О, мать, мать! Прошлый раз, когда мой муж работал у каида, проходили зуау. Они показали мне красивые платки розового шелка по четыре франка. Я купила два, потому что кабилл обещал подождать до конца месяца. Моя мать дала бы мне денег. Теперь кабилл говорит, что я должна ему двенадцать франков, и требует меня в суд. Мой муж бил меня и хочет дать развод. Я не знаю, будут ли у него деньги, чтобы заплатить... Боже, сжался!

— Я, — говорит Ауда, — никогда не покупаю в кредит. От шерсти я припрятала больше трех франков, а когда сбиваю масло, то тоже прячу немного, чтобы продать с детьми. Зерно я также продаю украдкой... Таким способом я имею деньги, чтобы купить себе, что хочу.

Подошла сестра Мохамеда, Фатьма, и женщины начали выражать сожаление соседке.

— Сожги немного рога барана, зарезанного к большому празднику, и всыпь золу в еду твоего мужа; он не сможет тогда отказаться от тебя. Смотри, не пробуй только сама, это мешает женщинам иметь детей.

Старуха умела колдовать.

Айша сложила руки, потом поцеловала грязную полу млафы лукавой колдуньи:

— Мать, умоляю тебя, пойдем ко мне. Мой муж уехал;

приготовь рог ты сама. У меня есть два.

— Но если я сделаю это, то мне нужно будет четыре дня душить бензоем мою гурби и поставить две цельных восковых свечки Сиди-Меруану. Дай мне шесть су, тогда я пойду.

Из складок головного убора Айши шесть су перешли в угол млафы старухи, которая встала и взяла свой хаик и палку.

— В понедельник, в полдень. Главное, не забудь шерсть...  
— шепнула она на ухо своей дочери.

Усталый и промокший, вернулся Мохамед домой с деньгами кабилла, которые он получил в передней переводчика после подписи обязательства.

Он нашел своего сына Маммара горевшим в лихорадке на коленях Лалии.

Ауда, свободная от работ по хозяйству, ворчала со злобою:

— И всегда должна я работать! Другая никогда. Готова поспорить, что ей принесли подарки. Мне же никогда ничего!

Пораженный внезапной болезнью малютки, Мохамед повернулся к Ауде.

— Что ты ворчишь, как сука?

— Я прошу у Бога милости ко мне...

И с необычайною наглостью она начала по зернам чепток высчитывать свои обиды.

— Замолчи ты, — сказала кроткая Лалия. — Разве не видишь, мальчик болен, человек устал?

— Ты, дочь змеи, ты не смеешь говорить мне ничего. Ты горда, потому что хорошо одета, гадина!

Маджуб нетерпеливо пожал плечами.

— Если бы ты была моя, — сказал он, — я выбросил бы тебя за дверь коленом под спину. А этот слишком терпелив.

В душе Мохамед очень хотел бы развязаться с Аудой, но он жалел выкупных денег и, как всегда, ограничивался тем, что побоями заставлял ее молчать.

На другой день болезнь ребенка ухудшилась. Лекарства старухи не помогли ему, и в следующую ночь он умер. Когда поднятые агонии ручки Маммара упали и сделались неподвижными, Мохамед обхватил двоими мозолистыми руками тельце сына и зарыдал от душевной боли.

Вокруг кучи тряпок, служивших постелью маленькому Маммару, женщины, сидя на корточках и царапая лицо ногтями, плакали с громкими причитаниями. Ауда, по необходимости и привычке, подражала другим, но ее черные глаза блестели злорадством.

После оплакиваний женщины взяли тело малютки, обмыли его и завернули в белый саван, узкий, как салфетка.

Маммар был похоронен на холме в каменистой почве. Молчаливый и угрюмый Мохамед собрал камни и ветки и построил из них шалаш под смоковницей, где он каждый день играл с своим сыном. Он разложил там старую циновку, несколько лохмотьев и лег. Но начиналась новая неделя. Денег не доставало; нужно было продать еще масла и меда и на деньги кабилла купить зерна. Потом нужно было сеять. Маджуб пришел в шалаш к старшему брату.

— Брат, для кого же я буду работать теперь, когда мой сын умер? — сказал Мохамед, бессильно подымаясь с постели.

— Воля Божия. Он, без сомнения, даст тебе другого сына...

В отсутствие Мохамеда, отец и братья Ауды пришли за нею, и она уехала, забрав свой скарб и даже не попрощавшись с женщинами, которые пробовали сначала удержать ее, а затем с облегчением вздохнули: «Чтоб она утонула в море, эта злюка!».

Мохамед отправился к кайду с жалобою, требуя свою жену обратно. Но старый судья посоветовал ему отказаться от нее, предсказывая ему большие неприятности, если она вернется домой. И Мохамед отказался от Ауды, водворив этим некоторое спокойствие в гурби в дни траура по маленьком Маммаре.

Потом Мохамед взялся за посев. Он ходил вдоль борозд, разбрасывая семена и с грустью думая о том, сколько трудов и пота поглотила эта твердая земля. И вот теперь она взяла еще и его единственного сына, его маленького Маммара, который, как игривый ягненок, бегал за ним по этим бороздам.

Вдруг Мохамед остановился; на красной глине чуть-чуть виднелся след маленькой босой ножки.

Феллах остановил работу и присел на корточки. Новый прилив горя охватил его душу. Он бережно взял кусочек глины с отпечатком ноги, растер его в своих пальцах и завязал в угол своего покрывала. Вечером он спрятал комок земли в углу гурби, как талисман. Затем, согнув голову под игом неотвратимого мектуба, он снова стал на работу для добывания хлеба своей семье.

Ветер и мороз прикончили посевы, и весною страшный стон покатился по холмам и долинам от Шелифа до моря. В пугливом воображении феллахов начинал вставать призрак близкого голода.

Кредиторы Мохамеда были безжалостны. Поле было продано, и продукты разделены между г. Фаге, кабиллами и бейликом на подати.

Без пашни, без хлеба, Айшубы остались только с одним огородом, на котором росли дыни и арбузы. Потеряв землю, Мохамед оказался вдруг безработным и бесполезным, как дитя или немощный старик. Мрачный, бродил он бесцельно по дорогам. Маджуб, чтобы прокормить семью, должен был мало-помалу распродавать свой скот. Молчаливый, как и брат, согнувшись под игом судьбы, он сделался главою семьи, потому что Мохамед все чаще и чаще начал отлучаться из дому и бродить неизвестно где.

Однажды Беналия увидел своего брата ходящим по полю, которое раньше принадлежало им. Он искал чего-то.

Охваченный страхом, Беналия побежал сообщить об этом Маджубу, который сейчас же отправился в поле.

— Си-Мохамед, что делаешь ты тут? Земля уж не наша, такова воля Господня. Пойдем, нехорошо, если тебя увидят

здесь.

— Оставь меня!

— Но чего ты ищешь там?

— Я ищу след моего сына.

Маджуб увидел, что его брат сделался дерруиш.

Немного дней спустя, в то время как не говоривший уже больше ничего Мохамед сидел перед своим шалашом, а Маджуб гнал животных на водопой, — Беналия играл перед гурби на свирели. Вдруг Маджуб возвратился бегом.

— Си-Мохамед, жандармы идут к нашей гурби!

По привычке он обратился за помощью и защитой к старшему брату, но Мохамед ответил:

— Что могут они взять у нас еще, когда мой сын умер и поле продано?

Провожаемые полевым стражником в синем бурнусе, жандармы подъехали к гурби и сошли на землю. Они вошли оба. Один держал в руке бумаги.

— Где Айшуба-Беналия-Бен-Ахмед?

Беналия побледнел.

— Это я... — пробормотал он.

Жандарм подошел и начал вязать ему руки. Так как Мохамед, широко открыв глаза, не говорил ничего, то Маджуб выступил вперед и, обратясь к стражнику, спросил его дрожащим голосом:

— Си-Али, за что арестовывают моего брата?

— Он отсутствовал в эту ночь?

— Да...

— Ну вот. Он отправился в Тимезратин и украл ружье у колониста Гонзалеса, а так как колонист поймал его, то твой брат выстрелил. Гонзалес ранен и находится уже в госпитале. Он узнал твоего брата.

Под громкий плач женщин Беналию увели.

Мохамед не проронил ни слова.

Постояв минуту, Маджуб взял ведро, повод и снова отправился к водопою.

Мрачный и грубый по характеру, жадный к наживе и никогда не находивший ласкового слова в разговоре со своими, Маджуб в глубине любил свой очаг и семью ревнивою

любовью, и несчастье брата удручало его. Он не испытывал стыда, разбой считался своего рода молодечеством, правда, незаконным, но совсем не постыдным. Он страдал лишь страданиями своего брата, потому что они вышли из одного и того же чрева и кормились одною и тою же грудью.

Почему Беналия повел себя так дурно, когда все Айшубы были мирными хлебопашцами? И откуда явилась у него подобная смелость?

Развал семьи казался Маджубу уже неминуемым.

Какой год! Ребенок умер, земля продана, старший сошел с ума, младший закован и, несомненно, будет осужден... Гнев Божий постиг их род, и нужно преклониться пред ним: «Хвала Всевышнему во всяком случае!»

Мохамед, казалось, становился немым. Он молча принимал пищу, молча приходил и уходил из дома.

Лалия в темных углах оплакивала свое горе. Ее невестки корили ее за то, что она внесла в дом все беды и несчастья. Но она терпеливо сносила все. В своем детском сердце она питала привязанность к Мохамеду, который был добр с нею и который страдал.

После нескольких месяцев молчания, когда Маджуб принес известие о том, что Беналия приговорен к пятилетнему тюремному заключению, Мохамед и теперь не произнес ни одного звука; но на другой день, отправившись в шалаш с ложкою, Лалия не нашла там Мохамеда. Еще на заре, взяв свою оливковую палку, он отправился прямо перед собою на запад.

В этот день, сделавшись вдовою, Лалия собрала свои пожитки. В зеленом деревянном сундуке, вместе с гандурами и млафами, находились две рубашонки и пара башмачков, принадлежавших маленькому Маммару. Лалия посмотрела на них, потом со слезами на глазах засунула их под свое белье, тихонько прошептала: «Маленький ягненок, с твоею смертью несчастье вошло в этот дом», — и она отправилась к своим родителям.

С каждым днем нищета в гурби Айшубов увеличивалась, так как трудно слабому человеку идти вверх по косо-



гору несчастья. Утомленный непосильною борьбою, Маджуб продал, наконец, последних животных и огород.

После этого он отпустил свою бездетную жену, отправился в город и поступил конюхом к одному оптовому торговцу вином.

Сидя однажды перед воротами своей конюшни, Маджуб вырезывал ножом рукоятку своей палки. Зима уже близилась к концу, и с того времени, как рассеялась семья Айшубов, прошел год. Маджуб сильно изменился. Он знал уже немного по-французски. Он чисто одевался, как горожанин, рискуя даже иногда показываться в европейском платье с одною шеей, и пил полынную водку, как и другие, в кафе Орлеанвиля.

...Мимо конюшни шел нищий с длинными седыми волосами под старым рваным покрывалом. Его тело прикрыто было лохмотьями, а в руке находилась длинная палка.

— Во имя Бога и Его Пророка, подайте милостыню!

Маджуб вздрогнул и поднялся, оставив свою работу.

— Си-Мохамед! Си-Мохамед! Я брат твой... Маджуб... Куда идешь ты?

Но старик прошел мимо. Всякий свет разума погас в его тусклых глазах. Маджуб сунул ему в руку все деньги, какие были у него, поцеловал его в лоб и вернулся в конюшню. Там, прислонившись к перегородке, он схватил руками голову и глухо зарыдал от боли в уже зажившей и так внезапно раскрывшейся душевной ране.

А старик продолжал идти прямо перед собою, ничего не видя и не узнавая во тьме окутавшей его мозг вековой ночи. Машинально, во имя Аллаха, протягивал он руку, прося того хлеба, в котором отказала ему красная и каменистая земля его страны.

Тенес.  
1902.

## СЛЕЗЫ МИНДАЛЬНОГО ДЕРЕВА

Бу-Саада, рыжая царица, одетая в свои темные сады и охраняемая своими фиолетовыми холмами, дремлет на обрывистом берегу узда под шумный говор воды, бегущей по белым и розовым камням. Небрежно прислонясь к низким земляным стенам, плачут своими белыми слезами миндальные деревья, ласкаемые ветром, и их нежный запах парит в мягком воздухе, вызывая сладкую грусть...

Это весна. Под ее томною внешностью таится буйная жизнь, полная любви и огня. Могущественные соки поднимаются из таинственных резервуаров земли.

Тишина южных городов царит над Бу-Саадою, и на ее улицах прохожие редки. Но на берегу узда виднеются иногда вереницы женщин и девочек в ярких одеждах.

Млафы фиолетовые, изумрудные, розовые, лимонно-желтые, гранатовые, небесно-голубые, красные или белые, вышитые цветами и звездами; головы, украшенные тяжелыми сооружениями сахарской куафюры, составленной из тесемок, золотых и серебряных подхватов, цепочек, маленьких зеркалец и амулетов, или увенчанные диадемами из черных перьев... все это движется, переливается на солнце; группы то сходятся, то расходятся в постоянно меняющейся радуге, точно рой очаровательных бабочек... Порою из молчаливых, будто выкрашенных охрою улочек показываются толпы мужчин, одетых в белое, с белыми капюшонами и серьезными бронзовыми лицами.

Уже много лет перед небольшою мазанкою с утра до вечера сидят две старые женщины. Они одеваются в темно-красную млафу, густая шерсть которой образует тяжелые складки вокруг их высохших, точно мумии, тел. По обычаю страны, головной убор их сделан из красных шерстяных тесемок и кос из седых волос, выкрашенных лавзонией в ярко-оранжевый цвет. В увядшие уши продеты тяжелые кольца, поддерживаемые серебряными цепочками, пристегнутыми к шелковым платкам куафюры. Ожерелья из золотых монет и твердых ароматических лепешек, боль-

шие пластинки чеканного серебра покрывают их опавшие груди; при каждом движении, редком и медленном, все эти украшения и браслеты на ногах и костлявых руках издают дребезжащий звук.

Неподвижные, как старые забытые идола, они смотрят сквозь голубой дым своих папирос на проходящих мимо мужчин, которые не бросают уже на них своих взглядов, на всадников, на свадебные кортежи, на караваны верблюдов или мулов, на дряхлых стариков, бывших когда-то их любовниками, на все это движение жизни, не трогающее их более.

Их тусклые глаза, чрезмерно увеличенные кехолем, их нарумяненные, несмотря на морщины, щеки, их накрашенные губы бросают как бы зловещую тень на эти старые лица, исхудалые и лишенные зубов.

...Когда они были молодыми, — Саадия с тонким орлиным лицом бронзового оттенка и Хабиба, бледная и хрупкая, — они услаждали досуги бу-саадийцев и кочевников.

Теперь же, богатые, украшенные добычей их молодой алчности, они спокойно созерцают блестящую декорацию большого города, где Тель встречается с Сахарою, где смешиваются между собою все расы Африки. И они улыбаются, жизни ли, которая идет своим ходом — неизменная и без них, — или же своим воспоминаниям... кто знает?

В часы, когда протяжный и жалобный голос муэддина сзывает правоверных, обе подруги встают и с громким звяканьем драгоценностей падают ниц на запачканную циновку. Затем они снова садятся на свои места и принимаются за свои мечты, как будто они ждут кого-то, кто не приходит.

Редко обмениваются они несколькими словами.

— Посмотри, о, Саада, вон там Си-Шалаль, кади... Помнишь ли ты время, когда он был моим любовником? Что за лихой наездник был он тогда! Как ловко вздымал он на дыбы свою вороную кобылу! И как был он щедр, несмотря на то, что состоял еще простым аделем! И вот он уже старик... Ему нужны двое слуг, чтобы посадить его на мула, столь же благоразумного, как он сам, и женщины не смеют больше смотреть ему в лицо... ему, глаза которого я по-

жирала своими поцелуями!

— Да... А Си-Али, лейтенант, который еще простым спаи прибыл с Си-Шалалем и которого я так любила? Он тоже был смелый кавалерист и красивый мальчик... Как плакала я, когда он уезжал в Медса! А он? Он смеялся. Он был счастлив. Его только что произвели в бригадиры... и он уже забыл меня... Мужчины все таковы... Он умер в прошлом году... Пошли ему Господь свое милосердие!

Иногда они поют любовные куплеты, которые странно звучат в их беззубых ртах с дрожащим, почти неслышным голосом. И они живут таким образом, беззаботные, среди призраков прошлого, ожидая, когда пробьет их час.

Багровое солнце медленно поднимается за горами, подернутыми легким туманом. Первые лучи его навешивают огненные украшения на верхушки финиковых пальм, и глиняные купола часовен кажутся отлитыми из массивного золота. В один миг весь старый рыжий город вспыхивает, точно накаленный внутренним огнем, в то время как низы садов, русло узда и узкие тропинки остаются в тени, будто наполненные голубым дымом, искажающим формы, смягчающим углы и подрисовывающим таинственные дали, открывающиеся между низкими стенками и стволами пальм... На берегу речки алый свет дня бросает розовый оттенок на застывшие в чистые снежинки слезы миндальных деревьев.

Перед жилищем двух старых подруг свежий ветерок разбрасывает остатки золы потухшего очага, шаловливо унося их небольшими вихорьками. Но Саадии и Хабибы нет на их обычных местах.

Внутри жилища слышен плач, то хриплый, то пронзительный. На циновке, как неподвижный сверток красной материи, лежит Хабиба. Саадия и ее подруги, бывшие куртизанки, плачут, царапая себе лицо ногтями, и мерное побрякивание драгоценностей сопровождает причитания плакальщиц.

Очень старая и совсем истощенная, Хабиба умерла в эту ночь тихо, без агонии, так как износившиеся пружины ее ломались постепенно.

Ее тело омыли в большой воде, завернули в надушенные белые одежды и положили лицом к Востоку. В полдень пришли мужчины и унесли Хабибу на одно из ничем не огороженных кладбищ, куда, на бесчисленные серые камни, песок пустыни свободно катит свою вечную волну.

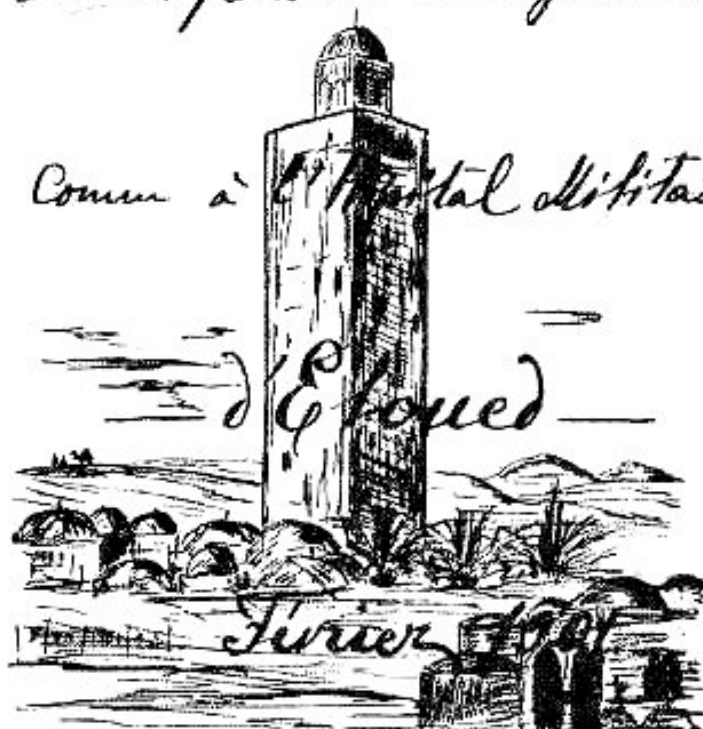
С этого времени Саадия уже одна сидит перед своею хижиною. Вместе с голубым дымом никогда не покидаемой ею папиросы выдыхает она тот небольшой запас жизни, который еще остается в ней. А на берегу освещаемого солнцем уэда и в тени садов миндальные деревья продолжают плакать своими белыми слезами сладкой весенней грусти.

Бу-Саада.  
3 февраля 1903 г.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Notes, pensées et impressions

Comm. à l'Hôtel Militaire



وَكُلٌّ مِنْ عَلِيٍّ يَا... وَسَقَى وَهْ رَسَكْ نَوَالِحَال وَكَرَامْ

# **МУЗЫКА СЛОВ**

## ЧЕРНЫЙ ЖЕРЕБЕЦ

Вечер. Красный вечер тяжелых кровавых испарений над пустотой равнины. За ручьем, на границах пустыни, гряда рыжих развалин, остатки стен, основания разбитых башен, разрушенный Черным Султаном зеккурский кзар, чьи обломки живут бесконечно, медленно выветриваясь на солнце и служа прибежищем ядовитым племенам скорпионов и гадюк.

Мы медленно проезжаем мимо всего этого запустения и вдруг другое видение возникло перед нами, и странное чувство потрясло меня.

На краю дороги, разметавшись, страдала черная масса. При нашем проезде этот остов приподнялся в судорожном усилии: то была лошадь, ее задние ноги были перебиты, она боролась здесь со смертью, одна, в этот умирающий вечер.

Черный жеребец уперся на выброшенные вперед нервные ноги; грудь его дрожала и он вытягивал окровавленные ноздри к нашим кобылицам.

Его большой, уже потускневший глаз внезапно зажегся, и он протяжно заржал, — последний нежный зов к трепещущим самкам, словно крик мятежа и боли.

Джилали отцепил ружье, прицелился в умирающее животное, раздался выстрел, сухой и резкий: черный жеребец покатился, сраженный, на красную землю, с помутившимся взглядом, с последним криком любви.

И со смехом детским и здоровым говорит мне Джилали бессознательно: «Ему посчастливилось, он умер влюбленным».

Ночь падает на развалины опустошенного Зеккура и на труп черного жеребца...



## АРОМАТ ОАЗИСОВ

...Таинственное озеро (миража) исчезло. Еще блещут вдали немногие пятна воды, клочки лазури, рассеянные в золотисто-рыжих песках. А тень пальмовой рощи уже влечет наших коней. Мы въезжаем, наконец, под тесные своды финиковых пальм и лошади, входя по колено в широкий среди тростников ручей, вытягивают к воде свои кровоточащие ноздри.

Какое облегчение, какая совсем физическая радость, этот приезд в тень, где ветер прохладен, где наши страдающие глаза отдыхают на темной зелени прекрасных пальм, на гранатовых деревьях и кроваво-красных цветах, на рощицах лавров-роз.

После обманной воды вкус правды.

Мы растягиваемся на земле: в Бехар мы въедем к вечеру, после отдыха.

Джилали засыпает, а я смотрю на эту новую декорацию, похожую на другие, любимые мною, открывшие мне таинственную прелесть оазисов. Я снова чувствую легкий аромат селитры, так присущий влажным пальмовникам, этот аромат разрезанного плода, что делает пряными все другие ароматы жизни в тени.

В глубоком спокойствии уединенной прогалины бесчисленные изумрудные ящерицы и меняющиеся хамелеоны, распластавшись на камнях, наслаждаются в огне солнечных пятен.

Ни пеняя птиц, ни стрекотанья насекомых. Какая прекрасная тишина! Все спит тяжелым сном, и между высокими стволами пальм, словно сказочные волосы, скользят рассеянные лучи.

## ВОСПОМИНАНИЯ ЛИХОРАДКИ

Негритянки с тонкими и гибкими телами танцевали, озаренные голубоватым мерцанием. Эмаль их зубов блистала на их лицах ночи особенными улыбками. Они драпировали свои тонкие формы в длинные покрывала, красные, голубые и ярко-желтые, которые свертывались и развертывались под странный ритм их танца и развевались на жivotax, делаясь порою прозрачными, как пар.

Их темные руки щелкали железными кастаньетами суданских праздников.

...Но вот негритянки мало-помалу отделились от земли и колебались в воздухе.

Их тела удлинялись, извивались, искажались, кружась, как пыль пустыни в вечера сирокко. Наконец, они растаяли в теки закопченных бревен потолка.

Мои глаза тяжело открылись. Мой взгляд влачился по всему вокруг. Я искала странные создания, несколько мгновений перед тем танцевавшие предо мной.

Я их видела, я слышала их горловой смех, подобный глухому квохтанью, я чувствовала на моем пылающем лбу горячие дуновения, поднятые их покрывалами. Они исчезли, оставив мне воспоминанье невыразимой печали.

Где они теперь?

Моя усталая мысль стремилась вырваться из чистилища, в котором она носилась часы, а быть может, и века: я не знаю, сколько.

Мне казалось, что я возвратилась из черной пропасти, в которой обитали создания, в которой двигались вещи, подчиненные законам, отличным от тех, что управляют действительностью, и мой расплавленный мозг болезненно пытался прогнать посещающие его призраки.

## МУЗЫКА СЛОВ

Лихорадка вновь овладевала мною.

Чтобы закрепить мои блуждающие мысли, я хотела бы набросать несколько изречений, оброненных передо мною Сиди-Брагимом, марабутом Кенадзы. Но калам уже дрожит в моих пальцах, буквы моего писания раздуваются, извиваются и ползут на стены. Это живые, угрожающие надписи, которые, вдруг успокоившись, поют приятным голосом веков:

«Проклятие миру и его дням, ибо жизнь создана для боли... Но, — о, изумление! — жизнь враг людей и они ее обожают!»

Нет, это не монастырская холодная мысль, это очаровательная музыка. Она проникает в меня и наполняет меня глубоким волнением, как если бы некий дух говорил моему духу, с тем, чтобы промолвить мне: «Забудь!» И вот душа моя, словно большая чаша, переполняющаяся от вместилища сих слов:

«Мир течет к могиле, как ночь течет к заре!»

Но я знаю еще и другую музыку, далекий друг, колыбельные песни такие сладкие и так очаровывающие, что если бы ты их пел твоей возлюбленной, она рассмеялась бы тебе в глаза, ибо у твоей возлюбленной никогда не было лихорадки.

Она умеет только смотреться в карманное зеркальце, мило прищуривать глаза и покусывать губы.

Однако у нее, я это знаю, густые волосы и самые красивые на свете улыбки, улыбки ума. Она понимает с полуслова. Когда глаза ее закатываются в восторге и синева век углубляет их, не вздумай, по крайней мере, вообразить, что она любит тебя: это легкая дрожь себялюбия.

И почему бы она любила тебя, тебя, чья любовь, подобно моей, только страстное страдание, тогда как ее — легкая радость? Итак, пой ей, чтобы видеть ее улыбку, колыбельные песни, написанные иными, сходными с ней кумирами.

Они проникли сегодня вечером до самого моего сердца,

эти мелопеи любви, эти музыки слов, вознесенные в молчании зауйя... Вопреки всем усилиям моего внимания, я не видела движения губ того, кто их пел.

То был путешественник. Он сказал мне: «Слушай эту песню Египта». И это его глаза говорили мне потом, только его смертные глаза:

«Мой взгляд не потупился перед угрозой индийского меча. Перед блеском черных очей моей возлюбленной, мой взгляд смутился и опустился к земле.

Так око орла, мой глаз не был ослеплен солнцем. Взгляд моей возлюбленной помутил мой разум и мое<sup>1</sup> зрение.

И однако, пока она была вблизи меня, хотя и недоступная, я был счастлив. Смертный не может достичь звезд, и однако, созерцание их блеска ему сладко.

И теперь, когда ее более нет здесь, разум мой бежит и слезы мои льются из сердца моего в глаза мои, и из глаз моих на песок...»

Я хотела бы убаюкать себя этими голосами, слушая того, кто бдит у моего изголовья и тех, что пели верхом около меня, когда мы пересекали утром светлую гамаду:

«Дай мне понять, что стало с моей возлюбленной.

Живет ли она, мертва ли она?

Если помнит она меня и если плачет она, я умру. И пусть тогда слезы ее омоют мое тело.

Если забыла она меня, если смеется она, если играет она, если распускает свои волосы она, я умру. И пусть тогда ее волосы будут мне погребальным саваном».

## РУКА

Воспоминание, которому уже четыре года, о Суфе, терпком и сверкающем, о земле великолепной и фанатической, которую я любила и которая чуть было не сохранила меня навсегда в одном из своих кладбищ без ограды и без печали.

Это было ночью, к северу от Эль-Уеда, по дороге к Бегами.

Мы возвращались, спаги и я, из поездки в одну далекую зауйю и хранили молчание.

О! эти лунные ночи в пустыне песков, эти несравнимые ночи великолепия и тайны!

Хаос дюн, гробницы, силуэт большого белого минарета Сиди-Салем, возвышающегося над городом, все стушевалось, таяло, принимало вид воздушный и призрачный.

Пустыня, где струились мерцания розовые, мерцания голубовато-зеленые, мерцания голубые, отблески серебристые, населялись призраками.

Никакого четкого и точного очертания, никакой явственной формы в бескрайнем блистании песка.

Дальние дюны казались туманами, нагроможденными на горизонте, ближние исчезали в бесконечном сиянии, падающем сверху.

Мы проезжали узкой тропинкой над небольшой серой долиной, усеянной стоящими камнями: кладбище Сиди-Абдалах.

Наши усталые лошади подвигались без шума по сухому и зыбучему песку.

Внезапно мы увидели черный силуэт, он спускался с другого склона долины и направлялся к кладбищу.

Это была женщина, одетая в темную *млафа* суфиатов, *млафа* в греческих складках.

Измученные и смутно обеспокоенные, мы остановились и следовали за ней глазами. Две свежие пальмы на могильной насыпи указывали недавнее погребение. Женщина, со съезженным, морщинистым лицом старухи, освещенным те-

перь луною, стала на колени, сняв сначала с могилы пальмы.

Вслед за тем она принялась копать руками песок быстро-быстро, как роющие животные пустыни.

Она работала с ожесточением.

Быстро открывалась черная дыра над сном и безымянным гниением, скрытыми в ней.

Наконец, женщина склонилась над зияющей могилой. Когда она выпрямилась, она держала одну из рук мертвеца, отрезанную у запястья, бедную, нестибающуюся синеватую руку.

Старуха поспешно засыпала могилу и снова посадила зеленые пальмы. Затем, пряча руку в своей *млафа*, она пошла обратно в город.

Тогда спаги, бледный и задыхающийся, схватил свою винтовку, зарядил ее и приложился.

Я остановила его:

— Зачем это делать? Разве это нас касается? Бог ей судья!

— О, Господи, Господи, — повторял уstraшенный спаги. — Дай мне убить врага Бога и его созданий!

— Скажи мне лучше, что она может сделать с этой рукой?

— А, ты не знаешь! Это проклятая колдунья. Рукою мертвеца она замесит хлеб. Потом она даст его поесть какому-нибудь несчастному. И сердце того, кто поест хлеба, замешанного рукою мертвеца, отрезанною в полнолуние, в ночь на пятницу, ссыхается и медленно умирает. Он делается безучастен ко всему и страшное *сужение души* овладевает им. Он чахнет и умирает. Да спасет нас Бог от этого колдовства!

Старуха исчезла в тихом сиянии ночи, уходя к своему темному делу. Мы в молчании вернулись на дорогу, ведущую к городу тысячи небольших и круглых куполов, которые, казалось, продолжали, от одного конца горизонта до другого, сказочные спины Эрга, в гигантский светящийся город Тысячи и Одной Ночи, населенный духами и чародеями.

## МЕРИЕМА

Мериема пришла и разбила свою черную с широкими красными полосами палатку в «Амуриа», лагере девушек ее племени, у подножья бурых стен Ударчира<sup>1</sup>.

Ей было шестнадцать лет. Высокое, тонкое под темно-синей млафа, ее янтарное тело было еще гибко и упруго. Ее лицо, обрамленное черными косами, было темно и прекрасно. Дуга бровей увеличивала роскошь блеска больших золотисто-рыжеватых глаз с крашеными ресницами и детская улыбка в важной неподвижности черт полуоткрывала чувственные губы над широкими перламутровыми зубами.

Золотые круги проходили сквозь нежные мочки ее ушей, широкие серебряные кольца блистали на ее тонких запястьях тусклым блеском, оттеняемым слезами крови коралловых инкрустаций.

В ее палатке стоял старый зеленый сундук с тяжелыми, потертыми замками, лежали бедные принадлежности хозяйства номадов и постель — большой сложенный ковер Афлу — и несколько старых шерстяных подушек.

В огромном, диком, грязном вертепе, в этом квартале проституток Фигига, Мериема «Амуриа» была единственной, желаемой из всех.

Своими медленными руками она ежедневно убирала палатку и долго потом украшала себя, драпируя лохмотьями бедности свое тело королевы.

Мериема усаживалась в голубоватой тени палатки, скрестив ноги, уронив на колени руки.

И в течение часов она ожидала так.

Перед ней до самых охряных стен влажного пальмовника Зенаги расстиралось голое, пыльное поле. Там, под легкими финиковыми пальмами, журчащие ручьи, темные пруды, в которых отражаются витые стволы, голубоватая листва и золотые кисти фиников, роскошное плодородие

---

<sup>1</sup> Один из семи кзуров Фигига (*Здесь и далее прим. перев.*).

терпкой земли, светлая пыль, вновь возникающая вблизи,  
сжигаемая всепожирающим солнцем.

И медленные проходили верблюды...





## НЕВЕСТА

Могаммед провел правой рукой по своей тонкой, чуть появившейся бородке.

— Пусть, — сказал он, — мне сбреют ее и пусть я стану подобен женщине, если я не сдержу слова, и если я не введу тебя в палатку моего отца, о Анбарка! Если я забуду тебя, пусть ослепнут мои глаза и пусть я окончу жизнь, прося подаяния во имя Бога!

Анбарка, рухнувшая на тяжелый многоцветный ферах (постельный ковер), медленно плакала.

Ее тело было гибко нежной гибкостью юности, ее овальное лицо с янтарной, бархатной кожей было очаровательной свежести. Ее очень длинные и очень черные глаза покраснели от слез, она их лила, не переставая, с той минуты, как Могаммед, придя к ней накануне, сообщил о своем отъезде в Южный Оран с гумом<sup>1</sup> своего племени.

— Да, ты говоришь это теперь, а потом ты уедешь на войну и, если даже Бог вернет тебя живым, ты забудешь Анбарку, маленькую, ничего не стоящую Анбарку!

Могаммед наклонился к ней и обнял ее, отирая нежно ее слезы.

— Не плачь: жизнь и смерть, и сердце человека в руках Бога. Что же касается меня, то у меня только одно слово, и пусть проклянет меня Бог, если я забуду сегодняшнюю клятву. Ради тебя я оставил мою жену, мать моего сына, и из-за тебя мне без конца надоедал отец... Будь спокойна, Анбарка, и ожидай моего возвращения, полагаясь на Бога и меня!

Боясь расчувствоваться, Могаммед поднялся и внезапно вышел; не приличествует мужчине, джуаду (благородному) плакать перед женщиной.

---

<sup>1</sup> Вооруженный отряд, поставляемый племенем, производящий разведки и командуемый французскими офицерами.

И Анбарка осталась одна в жалкой комнатухе, лавчонке, выбеленной известью, в одной из грязных и пустынных улочек Афлу.

За несколько месяцев перед тем, Могаммед ульд Абдель Кадер, сын одной из самых больших палаток Джебель-Амура, охотясь в горах, встретил вблизи *редира* (пятно воды на глинистой почве) Анбарку, наполнявшую водой большую амфору из обожженной глины.

Едва созрев, Анбарка была уже прекрасна, и Могаммед пожелал ее. Она уступила с пассивностью девушек ее расы: Могаммед был прекрасен, молод, знатного рода и щедр беззаботной арабской щедростью, доходящей почти до мотовства.

Так как он вернулся в Афлу, она последовала за ним и обосновалась среди жриц любви и веселья, чьи ярко-цветные платья весело выделяются на фоне серого камня, розоватой земли и темной зелени этой крохотной, искони протитурируемой столицы.

И Могаммед, покидая под всевозможными предлогами отцовскую палатку, упорно являлся к ней, вопреки гневу отца и увещаниям знатных мусульман.

Между Могаммедом и Анбаркой зародилась та странная любовь, бурная и в то же время нежная, которая так часто рождается между арабами благородной крови и видного положения и неизвестными проститутками.

Могаммед засыпал свою возлюбленную подарками, запутываясь из-за нее в долгах и пренебрегая с редкой смелостью последствиями своего поведения.

Приказ отправиться с гумом каида, его дяди, застал Могаммеда в полном расцвете мечтаний. Он повиновался против воли; несколько месяцев тому назад он ехал бы счастливым, полным задора и гордости: для него ведь это была война в ее привлекательном виде, война, опьяняющая опасной фантазией.

...Совершенно красное солнце едва взошло над каменистыми холмами, окрашенными в девственные, бледно-розовые, бесконечно светлые цвета. Первый прохладный осенний ветер шелестел в серебристых тополях вдоль французских авеню.

Номады в белых и черных бурнусах, в капюшонах, проходили на своих горячих худых лошадях.

Гумье гордились своими ружьями и патронташами и без всякой надобности пересекали весь город, привлекая плохо проснувшихся женщин на пороги домов. И сколько было бесконечных прощаний и шуток, которыми они обменивались на ходу с татуированными красавицами.

Могаммед с удовольствием дразнил своего прекрасно-го жеребца, радостно скакавшего во главе гума. Номад был величественен в своей светло-голубой куртке, разукрашенной золотом, в красных сапогах и в белых шелковых бурнусах. *Литгуа* из белоснежной кисеи окаймляла его правильное и чистое лицо с отцветами полированной бронзы и смягчала легкую тенью великолепный блеск его золотисторыжеватых глаз.

Перед дверью Анбарки он остановился и, свесившись с седла из расшитой серебром шкуры пантеры, сказал взволнованное и сдержанное прости ожидавшей его с рассвета Анбарке, украшенной и, как идол, недвижимой под своими прозрачными кисеями и расшитыми золотом покрывалами.

Бледная и озабоченная, она улыбнулась ему и следила за ним глазами, пока могла видеть Могаммеда гарцующим между его людьми на сероватом плоскогорье, усыпанном черными пятнами туй.

\* \* \*

Дни и недели текли, монотонные для Анбарки, полные неожиданного вначале, а затем покрытые тяжелой скукой для Могаммеда.

В самом деле, он быстро испытал большое разочарование: вместо схваток, о которых мечтал, ружейных выстрелов и военных подвигов, он был вынужден к долгим медленным переходам, лишенным какой бы то ни было прелести, по пустынным тропам крайнего юга, в хвосте верблюжьих обозов.

Ни малейшей атаки, иногда только были слышны вдали редкие ружейные выстрелы.

Нетерпеливые гумье без помехи дошли до Бени-Аббес. Потом их послали в Бехар: там, наверное, заговорят пули. Ничего подобного, и они возвратились, недовольные и усталые. Потом их бросили в Иху и к Атгапиалю. Говорили о преследовании значительной *гарка* Бени-Гиля... Гумье после форсированных маршей по горам и сквозь чащи нашли пятнадцать изорванных и грязных палаток, нескольких немощных стариков и женщин, бросившихся к их ногам с мольбой о хлебе.

По вечерам, собираясь возле светлых огней в случайных лагерях, всадники Джебель Амура начинали роптать: одно из двух, или руми<sup>1</sup> боялись бандитов запада, или не умели воевать, раз они не атаковали врага и теряли время в бесполезных маршах!

Примитивные номады не понимали ничего в этой современной войне, дублированной политикой, в этой мирной «полиции» на чужой территории. Если бы им позволили воевать самим, дело пошло бы по-иному: так как надо было сражаться с отложившимися бени-гиль и дуй-мениа, со страшными уэль-джерир и с неуловимыми берберами, они бы отыскиали их и истребили в самой глубине Тафилала!

\* \* \*

Возвращаясь холодным и туманным днем из Бехара, гум втянулся в узкое каменистое ущелье, окруженное невысокими, безводными холмами.

---

<sup>1</sup> Так арабы зовут христиан.

Усталые лошади медленно подвигались, опустив головы. Был рамазан<sup>1</sup> и гумье, угрюмые и голодные, молчали, кутаясь в пыльные бурнусы. Вдруг среди молчания затрепетали два-три выстрела. Одна из лошадей упала.

Офицер остановил обоз и гумье выстроились лицом к иссеченному бугру, где должен был находиться невидимый враг.

Огонь открылся снова, меткий и убийственный. Гумье отвечали на выстрелы с увлечением, но их пули бесполезно терялись в скалах. Они же были видимы и расстреливаемы наверняка.

Немногие из пятидесяти гумье Джебель Амура ускользнули с раненым французским офицером из рокового ущелья.

Бу-Гафс, двоюродный брат Могаммеда, не покинул его ни на одно мгновение. Сердце номада билось от радости и волнения: наконец-то война, настоящая война, и он стрелял, как и все другие, наугад, по трусам, не смеющим показаться.

Когда Могаммед покатился на каменистую почву с пронзенною пулею грудью, гум бежал. Бу-Гафс спрыгнул на землю, схватил тело своего брата и бросил его поперек седла. Потом, вскочив на коня под градом пуль, он в галоп догнал гум.

— Собаки не посмеются над сыном Абдель-Кадера! — сказал Бу-Гафс.

И Могаммед заснул последним сном на краю дороги в Бехар, в красной земле.

\* \* \*

Зимний вечер, черный, как сажа, спускался над Афлу. Десятка два оборванных всадников ехали крупной рысью на разбитых лошадях. Угрюмые, они едва отвечали на воп-

---

<sup>1</sup> Пост.

росы сбегавшихся толпами женщин, — грациозный слет многоцветных бабочек.

Анбарка, похудевшая и побледневшая, спросила жестом молчаливо проезжавшего Бу-Гафса, закутанного в большой, черный, весь в лохмотьях бурнус.

— Господь был к нему милосерден! — и Бу-Гафс продолжал свой путь, не оглянувшись даже на крик раненого животного, Анбарки. Она раздирала себе лицо, рухнув на землю перед дверью своей комнатухи, отталкивая женщин, пытавшихся утешить ее.

\* \* \*

Анбарка, наряженная в розовые шелка и в кисею в блестках золота, под длинными покрывалами из расшитого муслина, скользит по каменным плитам и бедра ее волнуются сладострастно.

На скамейке крикливая «гайта» испускает ноту безмерной, дикой печали, поддержанную звонкими ударами бубнов. И Анбарка собирает белые монеты, просовываемые ей в губы мужчинами.

В ожидании, когда какой-нибудь спаги или бедуин позовет ее на ночь любви, она возвращается на свою скамейку. Но глаз ее пасмурен, на губах ее нет улыбки: она помнит всегда о прекрасном Могаммеде, избранном возлюбленном, спящем там, в далеком Могриде.

## ОМЫВАТЕЛЬ МЕРТВЫХ

(Песнь, спетая в палатке, между Афлу и Тогтином, всадником Могаммедом улыд Абд эль Кадер Бен Зианом).

Я приветствую тебя, брат с чистым сердцем.  
О, последний посетитель, тыходишь в мою палатку...  
Я тебе скажу, только тебе одному, всю истину.

Я прошел в дверь, в которую все пройдут:  
Пастухи и ага, каиды и нищие.  
Я не солгу тебе на пороге:  
В доме иного мира  
Оставляют позади себя лукавство.

Я верил в дружбу братьев, вскормленных тою же грудью,  
В любовь детей моих, плоти от плоти моей,  
Я верил в богатства под сенью широкой палатки;  
Я стремился к обилию пищи  
И к великолепию одеяний.

Я ценил быстроту и огонь жеребцов,  
И силу руки, украшающую мужчину,  
И целомудрие, венчающее чело женщины.  
Но час пришел  
И ангел моей смерти приблизился:  
Я почил и я тебя приветствую,  
О, омыватель мертвых, единственный оставшийся у меня друг!

Мое тело получит от тебя последнюю ласку,  
Благодаря тебе я познаю саван,  
Который станет для меня белым одеянием вечности.

Когда водворят меня в убежище могилы,  
Когда сердца мусульман  
Вознесут надо мной последнюю молитву,  
Меня забудут вскоре, забудут мое имя,  
Ибо имя мое было создано для жизни.

О, омыватель мертвых, спустя два года  
Приди спросить тернии, возрастущие на моей могиле,  
Чьи дружеские слезы орошают их,  
Чьи рыдания зачаровывают ветер.

Они скажут тебе: дождь небес  
И пение птиц, умирающих также,  
Дождь небес и пение птиц  
Во славу Того, кто не умирает.



## ИЗАБЕЛЛА ЭБЕРГАРД

«Имя Изабеллы Эбергард, приобретенное к именам Флобера, Маскере и Фромантена, часто вспоминается, когда цитируют тех, кто вызывает в нас представление о Северной Африке».

Victor Barrucand

Огненным летом 1916 года, после раскаленного недвижимого дня, поднимались мы вечерами на высокий холм над Ореовицей.

Истомленные огневицей и палящим зноем, мы чувствовали себя счастливыми в наступающей прохладе позднего вечера.

Нам светил золотеющий месяц, легкий ветер доносил свежесть близкого Вардара и аромат отдыхающих от дневного жара цветов.

И быстрая скороговорка пулеметов, прерываемая взрывами орудийной пальбы, звучала нам в эти вечера чем-то странным и далеким.

Капитан Ватье, высокий и стройный, приехавший в Македонию из Марокко, страдал одною со мной слабостью — любовью к Востоку.

Восток, мистический и притягательный, занимал наши помыслы. Ватье набрасывал передо мною в эти незабываемые вечера, на холме над Ореовицей, один за другим волнующие образы Северной Африки, образы мусульманского Востока, и сладкое имя Изабеллы Эбергард не сходило с его уст.

И когда я спросил его однажды, — кто же это такая Изабелла Эбергард, — он посмотрел на меня с недоуменным изумлением.

— Вы не знаете Изабеллы Эбергард? Но ведь это ваша замечательная русская женщина! Такая, какую может быть только русская.

И целый вечер я слушал с восхищением рассказ французского офицера об удивительной русской девушке, о которой вряд ли многие из русских слышали.

Он обещал мне привести из Франции, если ему удастся уехать в отпуск, хранимую им книгу Изабеллы Эбергард.

И действительно, Ватье привез эту книгу в зеленой обложке с серебряным полумесяцем.

И целый сонм новых существ встал передо мною, жизнь иного, отличного от нашего мира стала мне близка, и в глаза мне блеснуло с ее страниц яркое солнце Африки.

А после к этой книге, в зеленой обложке, прибавились две другие, тоже с полумесяцем, недавно изданные человеком, имевшим счастье когда-то работать с Изабеллой Эбергард и на всю жизнь зачарованным сиянием *таланта ее жизни*.

Эти три написанные славянкой на французском языке книги называются:

- В горячей тени Ислама,
- Страницы Ислама,
- Тримардер.

Но самой прекрасной книгой была жизнь самой Изабеллы Эбергард.

\* \* \*

Изабелла Эбергард была дочерью вдовы генерала Мердера, умершего в 1873 году. Несколько сыновей генерала занимали еще в 1911 году, по словам г. Виктора Баррюкана, французского биографа Изабеллы Эбергард, высокие административные посты в России.

Наталия Мердер, похоронив мужа, переселилась в Женеву, где жил ее дядя, Александр Трофимовский, друг Герцена и Бакунина, поклонник Толстого, покинувший Россию в знак политического протеста.

В его доме, «Villa Neuve», и родилась в 1877 году Изабелла Эбергард.

«Дочь русского мусульманина и русской матери, — пишет она в автобиографическом письме, — я родилась мусульманкой и никогда не меняла религии. Мой отец вскоре после моего рождения умер в Женеве, где он жил, и мать моя осталась в этом городе у моего двоюродного деда, воспитавшего меня абсолютно мальчиком, что и объясняет, почему я в течение долгих годов ношу мужской костюм»<sup>1</sup>.

В библиотеке своего старого деда девочка познакомилась с самой разнообразной литературой. Одаренная редкими способностями, она в восемнадцать лет студентка-медика, говорящая и пишущая в совершенстве на русском, немецком, французском и арабском языках.

Литература влечет ее к себе. Она оставляет медицину и отдается литературным занятиям, поддерживает оживленную литературную переписку под именами Подолинского, Сиди-Махмута и другими.

На двадцатом году жизни дочери, Наталья Мердер переселяется вместе с нею в Бон, в Алжире.

Средиземное море и Марсель, город и море, сыгравшие огромную роль в ее судьбе, поразили воображение молодой девушки:

«Оршанов, — пишет она о своем любимом герое, в котором запечатлено немало ее собственных черт, — был ослеплен и опьянен после закопченных портов Севера Средиземным морем.

Это было подлинное, классическое море, сверкающее море, живущее во славе солнца, ласкающее своей лиловой волной берега света, на которых родилась человеческая

---

<sup>1</sup> Все цитаты, выдержки и описания, взятые в этой статье в кавычки, переведены мною с французского. *Вл. Лебедев.*

мысль... Это море, великий путь, ведущий в сказочные страны».

Одной из этих сказочных стран, неотразимо притягательной для Изабеллы Эбергард, была Северная Африка, страна ислама, пустынь и оазисов, причудливых таинственных древних городов, кзуров, окруженных пальмовыми рощами, бедных «гамада» и бесконечных солнечных пространств, так чудесно ею описанных.

Ее герой, ее двойник, подолгу простаивал на набережной Марсея, глядя на «красный пожар заходящего солнца», на гигантов паровых компаний, на далекие быстрые пароходные корабли, отходящие в Индию, Китай, в Океанию, стоял и смотрел в часы, когда

«могущественное дыхание жизни, тиранический зов далеких горизонтов, как тонкое и непреодолимое колдовство поднимались от Марсея и его портов»,

стоял, смотрел и говорил себе

«что Вселенная не кончается на этой набережной, что там, за этим убаюкивающим морем, — земли солнца и молчания, что там Африка...»

и

«Африка преследовала его, особенно мусульманская Африка. Он думал о своем собственном исламическом атавизме, пронесенном через весь род матери, татарский и кочевый...»

\* \* \*

В Боне Наталия Мердер приняла магометанство.

Вскоре по приезде она опасно заболела. Дочь оставалась у ее постели, ухаживая за ней, находя время для самого усердного изучения окружающего ее мира, для совершенствования в арабском языке и для литературной работы.

«Здесь, — писала она одному из своих магометанских друзей, — я не двигаюсь, не разговариваю, я учусь и пишу». «Я пишу, потому что я люблю процесс литературного твор-

чества; я пишу, как люблю, ибо такова, вероятно, моя судьба. И это единственное мое утешение».

Г. Али-Абдул-Вагаб, видный тунисский чиновник и ученый, рассказывает, как он познакомился с Изабеллой Эбергارد.

Будучи в 1896 году в Париже, он зашел однажды к своему другу, уважаемому шейху Абу-Наддара, и увидел у него на письменном столе портрет молодого русского моряка. Заинтересованный фотографией «юного красавца среди стольких почтенных старческих голов, большею частью министров, пашей, принцев и высоких сановников оттоманского двора», он спросил у шейха, кто это?

— Это, — ответил шейх, — молодой славянский писатель, который, приняв мусульманскую веру, обосновался в Алжире для изучения арабского языка.

«Через месяц, — рассказывает Али-Абдул-Вагаб, — я получил очень милое письмо от нашего славянина, подписанное “Махмудом”, в котором он просил меня осветить ему некоторые непонятые им мусульманские вопросы».

В конце концов между тунисским ученым и славянином завязалась оживленная переписка и Али-Абдул-Вагаб, приглашенный «Махмудом», при своем возвращении в Тунис, высадился в Боне, где и провел три дня в обществе Изабеллы Эбергарад и ее матери.

«Я не могу описать изумления, охватившего меня на дебаркадере, когда вместо того, чтобы пожать руку Махмуда, я очутился перед очень изящно одетой молодой девушкой».

Али-Абдул-Вагаб остался очарованным. Но, познакомившись потом гораздо ближе с ней, он все же никак не мог разгадать ее.

«Эта, — по его более поздним словам, — красивая и молодая девушка, сознательно отказавшаяся от приятных преимуществ ее пола с тем, чтобы идти навстречу приключениям, перед которыми бы отступил самый храбрый из мужчин», долго оставалась неразрешимой загадкой не для одного только Али-Абдул-Вагаба.

Не была ли она долгое время загадкой и для самой себя, она, писавшая:

«Есть во мне много такого, чего я еще не понимаю или только начинаю понимать. И тайны эти многочисленны. Однако я изучаю себя изо всех сил, я трачу мою энергию для осуществления на практике афоризма стоиков: “Познай самого себя”. Это тяжелая, привлекательная и болезненная задача. Что мне причиняет больше всего боли — это необыкновенная подвижность моей натуры и действительно отчаивающая неустойчивость моих настроений, сменяющих одно другое с необычайной быстротой. Это заставляет меня страдать и я не знаю другого средства, кроме немого созерцания природы, вдали от людей, лицом к лицу с великим Непостижимым, единственным прибежищем души в бедствии».

Смерть больной матери изменяет образ жизни Изабеллы Эбергард. Похоронив ее на мусульманском кладбище Бона, — там стоит камень с надписью: «Фатима Манубия», таково было магометанское имя Наталии Мердер, — Изабелла Эбергард возвращается к престарелому деду, к Александру Трофимовскому, в Женеву с тем, чтобы выполнить, как писала она, «свою дочернюю обязанность».

Но старый, добрый дед немногим пережил Наталию Мердер.

Изабелла Эбергард отныне ничем не связана с Европой... Дед оставил ей небольшое состояние. Она свободно может идти тем путем, на который ее так звал «этот великий, влекущий нас туда сфинкс».

\* \* \*

Она приняла решение с присущей ей «необычайной быстротой». «4-го июня 1899 года, — пишет ее французский биограф, — она выезжает из Женевы. 14-го июня она в Тунисе. 8-го июля она двинулась в путь в Южный Константи́н.<sup>1</sup> 12-го июля мы находим ее в Тимгаде “завтракаю-

---

<sup>1</sup> К границе Сахары.

щей и отдыхающей под аркой Траяна” и спустя два дня в Бискре. Она хочет ехать дальше, достичь великой пустыни».

«Жадная к неизвестному и к скитальческой жизни», — так она говорит о себе в коротенькой автобиографии, — Изабелла Эбергард объезжает верхом Тунис, восток Алжира и константинопольскую Сахару. «Ради большого удобства и эстетики» она одевается в костюм араба.

Прекрасно говорящая по-арабски, мусульманка, знающая всю мудрость Корана, она — для внешнего же мира, вернее, он — пользуется полным доверием кочевых племен, их шейхов, религиозных братств и их святых — «марабутов», перед ней открываются все тайны жизни североафриканских, исповедующих ислам народов.

Это свое первое путешествие в Сахару, к неумолимо влекущему ее Югу, она совершает или одна, или в компании случайных туземных спутников.

О том, что она женщина, знают только французские военные власти. Правда, Изабелла Эбергард могла бы отправиться с караваном капитана Сюсбиеля, но, зная суровое обращение этого офицера с туземцами, она отказалась от так облегчающей путешествие возможности. Ибо, «желая изучить нравы Юга», она не хотела лишать себя симпатий туземцев, что неминуемо произошло бы, если бы она ехала с отрядом Сюсбиеля.

Было условлено, что она молодой «талеб», тунисский ученый, путешествующий с научной целью и желающий посетить зауйи<sup>1</sup> Юга.

Но уже в Бискре начальник так называемого «арабского бюро», подполковник Фридель, спросил ее: не *методистка* ли она? Узнав, что она русская и мусульманка, он не понял ничего. Здесь впервые по отношению к Изабелле Эбергард зародилось у местных военных властей какое-то нелепое подозрение, сказавшееся чреватыми последствиями.

---

<sup>1</sup> Мечеть, принимающая странников, духовный центр религиозных магометанских братств.

Пустыня с ее оазисами, окруженными пальмовыми рощами, с высохшими солеными озерами — в одном из них она чуть было не погибла вместе с конем, — с фантастическими миражами, с настоящими, но также фантастическими городами, с ночевками то под открытым небом, то в **bor-dji**, полных скорпионов, то с караванами, с разговорами со случайными спутниками: берберами, арабами и неграми, солдатами из дисциплинарных батальонов и Легиона, со днями перемежающейся лихорадки, приводившей к ней среди песчаных дюн и сказочных оазисов вереницы причудливых образов, с часами восхода солнца и с изумительными «могребрами» — часы захода — произвела неизгладимое впечатление на Изабеллу Эбергард.

Одним из самых для нее пленительных моментов был ее въезд в древний Элуэд.

Возможно ли не пережить вместе с ней волнения, перечитывая строки, посвященные ею описанию этого момента:

«В безоблачном небе бесконечной лазурной прозрачности солнце склонялось к горизонту, и еще видны были серые дома и темные финиковые пальмы Кас-р-Куинина, выступающие на розовой необъятности песков.

...Внезапно, резким усилием захватывающего дух галоп, конь ее взнесся на вершину отделяющей Куинин от Элуэда высокой дюны.

Тогда перед ее восхищенными глазами прошло зрелище, единственное и незабываемое, — видение древнего, сказочного Востока. Посредине огромной долины, из белой переходящей в лиловато-серую, в темной растительности садов возвышался большой белый город.

И белоснежный в лоне этой ахроматической долины город казался воздушным и светящимся в текучей безмерности земли и неба. Без единой серой крыши, без единой дымящейся трубы Элуэд явился перед нею зачарованным городом отлетевших веков примитивного Ислама, молочной жемчужиной, вправленной в атласный, отливающий перламутром экран пустыни.



Ей не хватило бы никаких слов, чтобы выразить опьяняющий восторг этого зрелища, опьяняющего, эфемерного и бесконечно меланхоличного.

Теперь она медленно приближалась к нему вдоль полосы неводеланной земли. Множество небольших серых плит, упавших и склонившихся в песке, свидетельствовало, что тут место вечного упокоения Правоверных.

И вот в безмерном молчании этого города, казавшегося мертвым и необитаемым, словно с горных вершин спустились голоса, голоса, раздавшиеся в то же мгновение и в том же напеве надземной печали от границ черного Судана через столько континентов и морей до безбрежности Тихого океана, вызывая бессмертное воспоминание, святое такому множеству людей таких противоположных и так друг на друга непохожих рас.

Но уже другой, более протяжный и более размеренный голос поднялся из засыпанной песком, извилистой улицы.

Там, из огады, тихо вышла далеко видимая, сосредоточенная и печальная вереница мужчин в белых и черных бурнусах и в красных плащах спаги.

Вначале почтенные старцы, старые головы в тюрбанах, головы, в которых не зарождалась никогда мысль сомнения или возмущения против божественной воли.

Затем показалось несомое на крепких плечах шести бронзовых, почти черных “суафа”, на носилках, прикрытых белой тканью, что-то удлиненное, недвижимое в холодной очоченелости смерти. И потом еще и еще белые и черные фигуры.

Из группы стариков поднималось псалмопение, утверждавшее неизбежность Рока, тщету эфемерных благ мира и превосходство смерти, триумфально входящей в бессмертие:

“Вот, Господи, твой служитель, сын твоих слуг, ради мрака могилы покинувший сегодня мир, в котором он оставляет всех любивших его... И он свидетельствовал, что нет Бога, кроме тебя, и Магомет пророк Твой. Ты же Отпуститель грехов и Милосердный...”»

В погребальной долине два человека рыли в сухом песке глубокую яму.

И когда тело было положено в землю, лицом обернутое к стране, где находится Мекка, и прикрыто зелеными пальмами, тихо потек белый песок, покрывая навеки то, что заключало душу мусульманина, душу простого земледельца, суфи, человека малого знания и большой веры.

Потом белая вереница тихо пошла, унося с собой пустые носилки, обратно в город, в безропотном ожидании каждого возвращения сюда вновь в час, назначенный “мектубом”, на этих самых носилках, сопровождаемых теми же тысячетелными жестами и теми же литаниями непоколебимого постоянства.

И этот проход погребального шествия, чью невыразимую прелесть не омрачила ни одна зловеющая тень, внес в ее чуждое сердце глубокий мир...»

Я нарочно заменил повсюду в этой очаровательной картине местоимения: он, его, — ею и она. И, действительно, в ней Изабелла Эбергард описывает себя, только себя перед ликом пустыни и перед ликом смерти, перед ликом мусульманской смерти, так слитно, так полно сливающейся с жизнью, пред ликом бескрайней пустыни, где человеческое существо только пылинка, одна из мириад песчинок, вздымаемых ветром.

Всю свою остальную жизнь она помнит о поразившем ее у Элуэда в час «могребя» своею величественною простотой обряде погребения. Она ощутила в этот вечерний час перед древним зачарованным городом пустыни свой Рок, и час, назначенный ей ее «мектубом», неизвестный, но неизбежный, показался ей близким. Она ощутила его близость и знала, что это произойдет именно так, как пел ей однажды Си-Абделали, ученый из Маракеша:

И вот я мертв, душа моя покинула тело мое.  
Надо мной плакали слезами последнего дня.  
Четыре мужа взяли меня на плечи,  
Свидетельствуя веру свою в единого Бога.  
Они отнесли меня на кладбище,

Они вознесли надо мною молитву, не повергаясь ниц,  
Последнюю в этом мире молитву.  
Они засыпали меня землею.  
Мои друзья ушли, как если бы никогда не знали меня.  
И я остался один во мраке могилы,  
Где нет ни радости, ни печали, ни солнца, ни луны.  
У меня не было другого спутника, кроме слепого червя.  
Слезы высохли на щеках моих близких,  
И сухие тернии выросли на моей могиле.  
Мой сын сказал: «Господь был к нему милосерден».  
Знайте, что тот, кто направился к милосердию своего  
Создателя,  
Ушел в то же время из сердец его созданий.  
О, ты, стоящий перед моей могилой,  
Не удивляйся моей судьбе:  
Было время, когда я был, как ты,  
Будет время, когда ты будешь, как я.

Пребывание в Элуэде, хотя и недолгое, определило ее судьбу. Юг, таинственный Юг, где сливались воедино Sud-Oranais и Марокко, влек ее неудержимо.

О своей жизни в Элуэде она писала брату:

«К чему скрывать? У меня сокровенное убеждение, не основанное к тому же ни на каком логическом основании, что моя жизнь связана навсегда с Сахарой и что я не должна ее покидать».

И позднее, в одном из своих прекрасных набросков, озаглавленном почти непереводаемым «Enveloppement»<sup>1</sup>, она скажет:

«Я привязана к этой стране — одной из самых опустошенных и самых жестоких, какие только существовали», и дальше:

«Да, я люблю мою Сахару любовью неясной, загадочной, глубокой, необъяснимой, но действительной и неистребимой».

Мне кажется теперь даже, что я не смогла бы больше жить вдали от этих стран Юга».

---

<sup>1</sup> Букв. «окутывание», «обволакивание» (фр.) (Прим. ред).

Вскоре после поездки в Элуэд Изабелла Эбергард уезжает на короткое время в Европу. Марсель, Париж, Генуя, Сардиния и снова Марсель. В Марселе жил один из ее братьев по матери, Август Мердер, человек примечательный и своеобразный. В 1895 году этот изысканный интеллигент, уехав внезапно из Женевы, поступил в Иностранный легион, последовав, очевидно, примеру старшего брата Николая.

Герой «Тримардера», так же, как и рассказа «Русский» (из цикла «Легион»), Димитрий Оршанов, является собирательным типом, объединяющим в себе многое из жизни и психологии этих трех на редкость интересных людей, братьев Николая и Августа Мердера и самой Изабеллы Эбергард.

Изабелла Эбергард находилась под сильным влиянием Августа Мердера. Его разнообразные приключения сильно действовали на ее литературное воображение. Она в письмах своих к нему постоянно просила его указаний, тем и «человеческих документов». Они вместе же решили «посвятить себя сообща литературе», которая из всех занятий «требует наименьших первоначальных затрат».

Они же вместе ранее работали над юношескою вещью «Лазурные грезы» — грезы, которым было суждено кончиться для одного из авторов — Легионом!

Август Мердер, так же как и его брат Николай, ушел в Легион *из жизни*, вернее, *от жизни*, в поисках какой-то совершенно отграниченной среды, в стремлении осуществить, как говорит о Димитрии Оршанове Изабелла Эбергард, свою «программу эстетического эгоизма».

Легион вообще во все времена был не только прибежищем для интернационального сброда и слабых, выбитых из колеи людей, но и своеобразным военным монастырем, лучше сказать, *военным орденом*, для натур сильных, не примирившихся по тем или иным причинам с жизнью и ушедших в него, по большей части под чужим именем, из привычного им мира, зачастую навсегда.

Русские добровольцы на французском фронте времен великой войны, прошедшие через Легион, с волнением прочли бы очерки Изабеллы Эбергард, посвященные ему. И вообще, все творения этой *славянки* — она сама и ее биографы, друзья и почитатели всегда отмечают ее *славянское* происхождение, — ставшей мусульманской амазонкой, обьехавшей на коне с пером в руке пустыни и оазисы французской Северной Африки, представляют, особенно в настоящий момент, исключительный интерес не только в силу таланта их автора, но и потому, что в них даны как психология и образы исполнителей развертывающейся ныне в Северной Африке драмы, так и великолепные декорации, среди которых развертывается она. Исполнители — это неукротимые берберы в своих черных и белых бурнусах на малорослых нервных конях, это спаги в красных плащах, это вечно анархические, горячие арабы, это подрывающие всякую центральную власть «марабуты» — святые, по-разному толкующие Коран, это французские колониальные войска, это, наконец, Легион. Легион, в котором теперь действуют не одиночки, вроде Димитрия Оршанова, но русская масса — мне называли цифру, которую я боюсь повторить, — в двадцать тысяч человек!.. — нашедшая себе своеобразное, и какое в настоящий момент страшное, прибежище. В этом единственном, неповторяемом *явлении*, в Легионе, и теперь наряду с сыном Горького и племянником одного из скандинавских королей служат не только русские, не пожелавшие проливать русской крови в гражданской войне и «спасшиеся» в Легион, не только ландскнехты «белой мечты», не только просто русские люди, пошедшие в него, как идут на шахты или сельскохозяйственные работы, чтобы только не умереть с голоду, не только немцы, и до войны составлявшие большинство легионеров, не только обыкновенные международные наемники, но и исключительно сильные, своеобразные, странные фигуры.

Август Мердер, так много давший своей сестре человеческого материала, сам бывший для нее одним из «человеческих документов», покончил с собою в 1920 году в том же Марселе. Единственным мотивом самоуничтожения —

было желание *вовремя* окончить жизнь.

И каждый раз, когда перед Изабеллой Эбергард в пустыне или в оазисах проходил Легион, когда раздавался его особенный марш флейт, ее охватывало странное волнение и ей казалось, будто и она весь свой век прожила в этой шинели легионера, шла в измученных рядах раскаленным днем и отдыхала в жалких вертепах ночью. Так сильно было в эти моменты художественное перевоплощение, так неотразимы были для нее впечатления ее братьев.

В Марселе Изабелла Эбергард работает вместе с братом над отделкой очерков своего первого путешествия в Сахару.

\* \* \*

В конце 1900 года она снова в Сахаре. Она решила узнать, в каких условиях погиб в пустыне маркиз де Море, о смерти которого ею год тому назад были собраны сведения, сильно возбуждившие ее любопытство.

Изабелла Эбергард, как и в прошлый раз, ездит в мужском костюме. Это все тот же молодой «тaleb» с очаровательным бледным лицом, красивый и нежный, в белом бурнусе, в красных сафьяновых сапогах, в тюрбане, скачущий на горячем, ею же обьезженном коне.

Она живет одною жизнью с кочевыми племенами, слушает бесконечные рассказы в палатках «марабутов», посещает самые заброшенные зуайи...

Конечно, она снова в Элуэде. Подлинно, это город, определивший ее судьбу! Здесь она встречается с унтер-офицером полка спаги, г. Слиманом Энни, туземцем по происхождению, магометанином по вере. Она выходит за него замуж. Отныне она всецело принадлежит Африке.

Кроме брака по мусульманскому обряду молодожены хотели обвенчаться и гражданским браком, единственно действительным для французского подданного, каковым был г. Слиман Энни. Как описать их удивление, когда фран-

цузские военные власти не дали ему на то своего разрешения!

Еще бы, Изабелла Эбергард была журналисткой, русской мусульманкой, ходила в мужском костюме, была любима номадами и вообще представляла собою загадку. Но главное — она держалась иных взглядов относительно направления французской политики в Северной Африке, чем многие из военных французских властей.

Вскоре это предвзятое, недостойное отношение выразилось в отвратительной форме.

Изабелла Эбергард в это время очень подружилась с религиозным братством Кадрия и часто ездила в расположенные в окрестностях Элуэда зауи этого братства.

В одной из них, в доме марабута, на нее внезапно напал фанатизированный член религиозного братства Тидиниа, враждебного братству Кадрия. Изабелла Эбергард бросилась к висевшей на стене сабле хозяина дома, но в этот момент получила страшный удар саблей же по голове. Рана оказалась крайне опасной, Изабелла Эбергард едва от нее оправилась.

Злоумышленник, по имени Абдала, заявил, что он никогда не видел своей жертвы и ничего против нее не имел, но что «надо было, чтобы он ее убил», кроме того, он добавил, что он поразил саблей «не европейку, а магометанку, повинуюсь божественному внушению».

Так и не удалось до конца распутать этого узла. Абдала, очевидно, был слепым орудием в руках шейхов, враждебных конфрерии Кадрия, его отец даже показал, что сына толкнули на этот поступок «шейх, его слуги и посланец Бога».

Несмотря на просьбы Изабеллы Эбергард, молившей суд о снисхождении к Абдале, он был осужден на двадцать лет каторги. Но к концу процесса она с изумлением узнала, что отдан приказ о ее высылке из Алжира!...

В Алжире был период междуцарствия между отъездом старого и приездом нового губернаторов. Все протесты были напрасны. Подозрительность некоторых военных, руководителей так называемых «арабских бюро», принесла свои плоды.

Годы, в которые Изабелла Эбергард совершала свои поездки, были годами начала французского проникновения из Южного Константина в сливающееся с югом Алжира Марокко. Полковник, теперь маршал Лиотей, был одним из главных пионеров его.

И она часто ездила как раз вдоль тех военных постов, что медленно шаг за шагом продвигались в Марокко.

Французы в то время уже твердой ногою стояли в Тунисе и Алжире. Но перед ними была трудная, почти невыполнимая задача не только проникнуть в Марокко, но и, как говорил генерал Манжен, один из самых замечательных знатоков Северной Африки, *«завоевать сердце берберов»*, от чего, по его словам, зависела и *«сама длительность французского дела в Африке»*.

Берберы, основной фон населения Северной Африки, неукротимый народ, ассимилировавший всех своих победителей от финикийцев, греков, римлян, вандалов, византийцев вплоть до арабов, и был главным героем творений Изабеллы Эбергард.

Она, знавшая историю и быт страны, предпочитала для населения Северной Африки французское проникновение, несравнимое с предшествовавшими режимами, а в Алжире и Тунисе давшее положительные, по сравнению с недавним турецким управлением, результаты.

Но она хотела бы видеть иные методы этого проникновения и управления страной. Она хотела бы действительного пришествия с французской администрацией демократии, приобщения к самоуправлению мирного населения. Она хотела бы больше уважения со стороны французов не только к исламу, как таковому, к этому огромному миру, простирающемуся от Тихого океана «чрез столько континентов и морей» к Бар-Эль-Домна, до «моря мрака», как называют мусульмане Атлантический океан, она хотела бы больше уважения и внимания к самой человеческой личности этих людских песчинок — белых, бронзовых и чер-



ных, закутанных в бурнусы и простирающихся ниц во имя Аллаха в часы могребя в прекраснейшей из пустынь.

*Завоевать сердца бербера и араба!* Не тщетная ли это с исторической точки зрения задача? Но если к ней все же стремиться, то прежде всего надо знать обладателей этих сердец.

И великая, непревзойденная еще заслуга Изабеллы Эбергард в том, что она, эта молодая *славянка* с талантом большой художницы, сумела показать всю обворожительную прелесть своих братьев по вере, всю величавую простоту их жеста, все достоинства души под белым бурнусом. Все несчастья и бедствия, все радости и празднества, жизнь и сама смерть кочевого и земледельческого ислама глянули на читателя со страниц, написанных этою пришельцей.

«Мир, привлекавший ее, — справедливо говорит Виктор Баррюкан, быть может самый компетентный в вопросах французской Северной Африки писатель, — был не мир салонов, говорилен и газет, но мир разоренных “гамада”, лихорадочных оазисов, бурых кзуров и пустых бескрайностей под их золотой маской...»

И если одни из писателей, описывавших колонии, были заняты только колонистами, то Изабелла Эбергард, описывая и Легион, и колонистов, и дисциплинарные батальоны, — что дало право госпоже Северин сблизить ее очерки с «Записками из Мертвого дома», — главную задачу видела в изображении своих неукротимых магометанских братьев по вере. И ее французский биограф уверен, что именно «*славянская души*» Изабеллы Эбергард, *славянское* влечение к «номадизму», *славянская* музыка и Восток — облегчили ей проникновение в тайну жизни местного населения.

«Она не владела полями, доставшимися от секвестра или экспроприации, она не сеяла ни пшеницы, ни винограда; но она творила дело интеллектуальной колонизации.

И сегодня память о ней парит над многими мертвыми и над последними следами произвола над туземцами, который вскоре исчезнет...»

Ибо Изабелла Эбергард была проповедницей — она работала в нескольких влиятельных газетах Северной Африки — всего того, что в последние годы слабей, но начало проводиться в жизнь в Алжире и Тунисе: привлечение арабов и берберов в самоуправления, в советы колоний и так далее. Словом, «миллионы забытых людей», по словам Баррюкана, начинают приобщаться к пока еще робкой, очень робкой свободе. Изабелла Эбергард была одним из передовых бойцов за эту свободу.

Ее статьи в газетах определяли ей роль колониального офицера. И не случайность, что об Изабелле Эбергард мне впервые сказал в Македонии именно *офицер*. И сам Лиотей был, очевидно, в те времена под сильным влиянием ее работ.

Как бы там ни было, у нее были друзья и последователи, но были и враги, те самые, которых связывала по рукам и ногам ее журналистическая деятельность.

\* \* \*

Решение о ее высылке взволновало и возмутило алжирскую прессу и друзей. Несмотря на их протесты, решение, принятое в период междуцарствия, не было отменено во имя «сохранения престижа», и она выехала в Марсель.

В Марселе у нее вскоре истощились все средства и ей пришлось, еще не выздоровевшей, с незарубцевавшейся раной и с почти парализованной рукой, сделаться грузчиком в порту...

Высокая, прекрасно сложенная, она работала, одетая парнем, вместе с итальянцами и другими иностранцами, разгружала и нагружала трюмы морских гигантов и бедствовала, как бедствовал в те времена портовый рабочий народ.

Она жила жизнью, так чудесно описанной ею в «Тримардере». Она сама была тримардером, грузившим пароходы, и Димитрий Оршанов этого периода — живет ее собственной жизнью, ее собственными размышлениями.

«Волна жизни и веселья катилась по светлым каменным плитам мостовых. Богатства, появляясь из пыльных вагонов, нагромождались одно на другое, смешивая воедино свои цветные пятна.

Там были груды досок, пришедших с Севера, свежего бледного цвета со слезами розовой смолы, бочки серы из Агда с тонкими зелено-желтыми струйками в щелях сухих планок, мешки синеватой известки, бочки вина, окрашенные фиолетовым осадком, ящики с краской в порошке, запятнанные темным индиго, изумрудным зеленым, светлым шафраном, ярко-красные бочонки с суриком».

Грузчики выгружали, а вместе с ними и Изабелла Эберг-гард, все эти весьма тяжелые богатства.

«Они были одеты в голубое полотно, запачканное смолой и оливковым маслом, их торсы влиты были в белые и голубые матроски, пояс из красной шерсти, очень свободный, спадал на бедра.

Некоторые из них носили матросские береты, другие же надевали вылинявшие зуавские и спаиские шепии, африканское старье.

Теплый, уже порозовевший свет ласкал их мускулистые шеи и медную поверхность их разнообразных лиц, одних тусклых и неопределенных, других чистых и прекрасных.

Оршанов одевался теперь, как и они, и уже через месяц говорил их жаргоном, наполовину провансальским, наполовину *матросским*, испещренным словами далеких стран, арабскими и китайскими, имевшими пряный средиземный вкус.

И этот приморский плебс, такой шумливый, такой сверкающий в своей мишуре, такой колоритный в своей выставленной напоказ бедноте, с крепкими запахами в теплом брожении плодородной почвы!..

И грузчики любили молодого, высокого, стройного товарища, называли его «русским» и говорили о нем, что он «добрый zig»...

Перед ней проходили все эти красочные типы набережной Жоллист — и маленький Анри, голобедрый мальчуган «с профилем хитрой козы», поющий:

Suona, suona la campane  
Suona, a matine suona!

и ходящий колесом по каменным плитам, и араб Слиман, в пыли мостовой выводящий пальцем арабески, и простоволосые работницы в красных юбках, с передниками в цветочках, «как барышни», при проходе которых рабочие выпячивали груди. Испанцы, арабы, негры, французы и особенно итальянцы, все собою заполняющие итальянцы, вот мир, окружавший ее, описанный ею с горячей симпатией.

— *Vengo, fils...*

— Иди ко мне, сынок, — говорили этому стройному молодому рабочему черноволосые падшие девушки в портовых улицах, являющихся сплошными притонами, со своими почти голыми жрицами у порогов домов и в весело освещенных кабачках, с кровавыми драками, так похожие на другие описанные ею колониальные вертепы.

И площади, на которых

«под легкими палатками из серого с красными полосами полотна ломились ларьки под тяжестью остро пахнущей и яркоцветной снеди: кровавые томаты, зеленый и красный перец, черные маслины, большой фиолетовый лук, изогнутые колбасы, жареная в оливковом масле золотисто-коричневая рыба с тонкими звездообразными ломтиками лимона, целые зелено-желтые на черных раковинах мурлей лимоны, тяжелые кисти мускатного винограда бледно-медового цвета, легкие белые хлеба, черновато-гранатные вишни».

Рядом импровизированные кухоньки-очаги, на которых готовились сдобренные шафраном и перцем марсельские яства.

Полуголые рабочие бежали к фонтанам мыть руки и, суша их в воздухе на ходу, собирались у ларьков тесной, шумливой массой.

«И от всей этой проголодавшейся толпы поднимался под солнцем терпкий запах пота самцов».

Изабелла Эбергард видела, как «к концу августа ветер красного гнева прокатился по мостовой», как итальянские пароходы привозили голодные, оборванные массы новых рабочих, конкурентов дешевого труда, как пала заработная плата, как ранее пришедших рассчитывали ради более непритязательных новичков, и как дикая, страшная ненависть охватывала этот трудящийся международный плебс, — ненависть к работодателю и к.... рабочему конкуренту, к буржуазии и к оборванным итальянцам, она видела, как росла и ширилась сумбурная пропаганда, как собирались беспорядочные митинги и как возбужденные, отчаявшиеся толпы неслись в безудержном гнев по улицам и улочкам Марселя, останавливались перед итальянскими обжорками и кричали:

«Смерть *Баби!*»

Смерть несчастным итальянцам, голодным собратьям по труду...

Она видела смертельные схватки рабочих с полицией, легкие триумфы последней и всю нелепость, всю бессмысленность жестокого социального порядка, с такой яркостью выявлявшегося в огромном мировом порту.

И всем сердцем, всей душой она была с этими плохо организованными, не осознавшими еще себя ее случайными товарищами по труду, и страницы, посвященные им, их жизни и набережным Марселя, — страницы, запечатленные печатью большого таланта и прекрасного сердца.

\* \* \*

Тем временем ее мужу, господину Слиману Энни, удалось перевестись в гусарский полк, стоявший в Марселе. Здешние военные власти разрешили ему вступить в гражданский брак... с женой. Изабелла Эбергард стала французской подданной и сейчас же уехала в Алжир. Это было в конце 1901 г. Через несколько месяцев кончился срок службы мужа и он присоединился к жене.

Изабелла Эбергард теперь деятельно работала в «Алжирской депеше» и в журнале Виктора Баррюкана «Акбар». В последнем же печатались «Тримардер» и «Sud-Oranais».

Само собой разумеется, Изабелла Эбергард продолжала свои путешествия. Теперь она уже не выходит из бурну-са. В начале 1904 года она хотела проникнуть как можно дальше к югу и, предчувствуя роковой конец, завещала опубликование всех своих работ Виктору Баррюкану. Она хотела достичь до самого Тафилале...

Увы, в Аин-Зефра, в деревушке, расположенной на оконечности южно-оранских плоскогорий, в обширном круге обступивших ее гор, Изабелле Эбергард суждено было погибнуть.

Поток Зефра, переполнившийся от дождей, ринулся на деревню. Изабелла Эбергард, сохранившая все свое хладнокровие, сказала бывшему с ней мужу:

«Я умею плавать, не бойся, я поддержу тебя»,

и, оторвав несколько досок, она сделала плот, на котором спасся муж. В этот момент дом обвалился и погреб ее в своих развалинах.

Два дня спустя, Изабеллу Эбергард отрыли под развалинами дома. В трех шагах от нее — рукопись «Тримардера». Мусульманское кладбище Аин-Зефра приняло останки так рано, так безвременно погибшей героини...

«Она упокоилась там, куда стремилась, в стране алмазного света, на самом идеальном, какое только существует в мире кладбище, у подножья высокой песчаной дюны, бывшей экраном ее мечты и которая когда-нибудь спустится на скромные, голые могилы, чтобы прикрыть их своим золотым плащом...»

Так погибла эта замечательная русская женщина, оставившая в литературной — и только ли в литературной?.. — жизни североафриканского ислама такой глубокий след, что горячий поклонник ее таланта, ее биограф, ее друг, через двадцать лет после ее смерти все еще собирающий и издающий ее творенья, Виктор Баррюкан, говорит:

«Изабелла Эбергард не исчезла, ее сияние горит еще на нашем поколении, и наша радость, наша гордость, наше

утешенье в том, что мы поддерживали в действии эту слишком рано разбившуюся силу.

Изабелла Эбергард была действительно героиней и потому пережила смерть».

Гибель ее была оплакана поэтами и выдающимися людьми. Она погибла двадцати семи лет, в начале расцвета своего таланта и на пятом году своей жизни «в горячей тени ислама».

Предвидение близкого конца не покидало ее. Но разве она не ждала его со спокойной ясностью? Разве она не говорила:

*«...Быть здоровым телом, чистым от всякого загрязнения после омовения холодной водой, быть простым и верующим, никогда не иметь сомнений, не бороться с самим собой, ожидать без боязни и без нетерпения неизбежного часа вечности — вот мир и счастье мусульманина — и кто знает? — вот, может быть, и мудрость».*

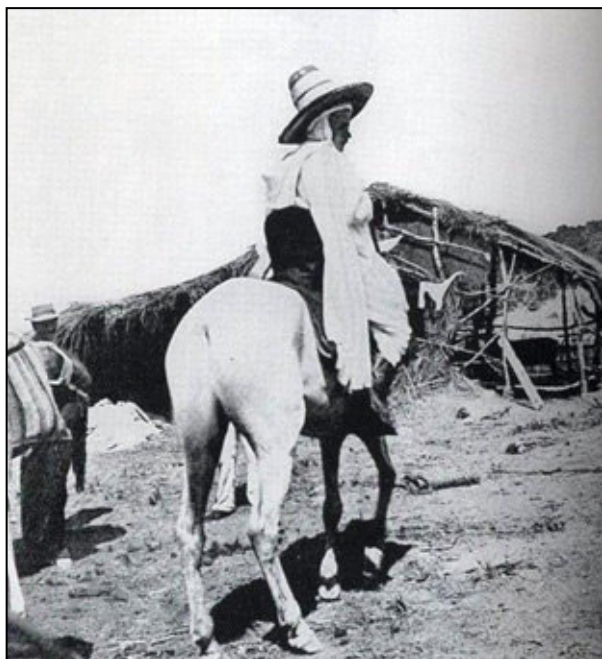
Она, предпочитавшая всему дорогу, Путь, путь, неотразимо влекийший ее, уводивший и от покоя и даже от любви, с чисто исламическим, а может быть, и славянским фатализмом и смиренномудрием писала:

«За всеми морями есть континенты; в конце каждого плавания порт или кораблекрушение...

«Неприметно, тихо надежда ведет к могиле. Но что из того! Завтра великое солнце снова поднимется над морем, море оденется в свои самые отливающие цвета и порты будут сиять всегда».

В стране миражей, быть может, одним из чудеснейших был этот — это видение молодой прелестной русской девушки, взнесшейся в час могребания на горячем коне на вершину огромной дюны и увидевшей оттуда своими восхищенными очами в красном пожаре вечернего солнца белоснежный в перламутре пустыни, зачарованный, с тысячью куполов и минаретов древний Элуэд и поразившее ее, как печальное, но верное предзнаменование, погребение бедного, в белом саване закутанного суфи, человеческой песчинки в бесконечном океане ислама.

## Примечания



Изабелле Эберхард (1877-1904) посвящены десятки книг и статей (включая ряд документальных и романизированных биографий), кинофильмы и даже опера. Ее именем названы улицы в Женеве и алжирских городах Бехар и Алжир. На французском и английском языках, не считая отдельных сборников, изданы собрания сочинений, дневники, письма.

На русском языке произведения Изабеллы Эберхард не переиздавались почти сто лет. Мало того: ни единая русская публикация о ней, начиная с 1900-х годов, не свободна от вымыслов и неточностей.

Настоящая книга призвана исправить создавшееся положение. Считая ее предварительной, мы решили не обременять издание хронологическо-биографической канвой, комментариями, библиографией и т. п. Общий очерк жизни и творчества Изабеллы Эберхард читатель найдет в вошедших в книгу статьях;



к услугам тех, кто пожелает расширить свои знания о ней — не-обозримая всемирная сеть (к сожалению, как уже сказано, мы не можем рекомендовать ни один русский источник).

В издании полностью воспроизведена единственная русская книга Эберхард *Тень ислама*, впервые опубликованная в 1911 г. и давно ставшая библиографической редкостью. Состав ее нуждается в некоторых пояснениях.

При жизни Эберхард не было издано ни одной ее книги. Рукописи, обнаруженные в развалинах ее дома в Айн-Сефре, были переданы французско-алжирскому писателю и журналисту Виктору Баррюкану (1964-1934) — покровителю, издателю, литературному душеприказчику и, вероятно, одному из любовников Эберхард. Среди них была и рукопись, озаглавленная *Южный Оран* и найденная в развалинах спустя почти полтора месяца после трагической гибели писательницы.

Так появилась первая книга И. Эберхард *Dans l'ombre chaude de l'Islam* («В горячей тени ислама»). Это парижское издание 1906 года — фактически оно вышло в ноябре 1905 г. — вызвало скандал: Баррюкан, работая с поврежденными водой и грязью, чудом уцелевшими рукописями, многое исказил, что-то опустил и позволил себе некоторые «экзотические» и цветистые вставки собственного сочинения. *Южный Оран* он произвольно разделил на две части; в книгу вошла вторая в сопровождении републикаций некоторых очерков из периодики (в оправдание Баррюкана можно сказать, что эта часть представляла собой цельное повествование о поездке Изабеллы Эберхард в Кенадсу и пребывании в местной завие). Но совершенно оскорбительным и неприемлемым было другое: книга *В горячей тени ислама* вышла под двумя именами — Эберхард и Баррюкана.

В дальнейшем Виктор Баррюкан, чья преданность памяти Изабеллы сомнению не подлежит, гораздо бережней относился к публикации ее наследия. Однако именно с этой скандальной книги начался путь Изабеллы Эберхард к славе. В русское издание переводчик А. Е. Вандам (Едрихин, 1867-1933) — военный писатель и журналист, будущий генерал-майор — включил с небольшими сокращениями всю вторую часть *Южного Орана*, добавив к ней подборку новелл и этюдов из периодических изданий.

Вторую часть нашей книги составила большая публикация В. Лебедева, состоявшая из перевода восьми рассказов и этюдов и статьи об И. Эберхард; она появилась в 1925 г. в двукратном номере 7/8 пражского эмигрантского журнала *Воля России*.

Некоторые биографические мифы, с которыми читатель может столкнуться в статьях британского писателя Н. Дугласа (1868-1952) и В. Лебедева, также нуждаются в объяснении.

Никакого «доброго деда» в жизни Изабеллы Эберхард не было. Большинство биографов считают ее отцом образованного полигота, анархиста-толстовца и последователя М. Бакунина (а по сведениям швейцарской полиции, также священника-расстригу, бывшего стряпчего и т.д.) Александра Николаевича Трофимовского (1826-1899), служившего наставником детей в семье генерал-лейтенанта, участника наполеоновских и кавказских войн, сенатора Павла Карловича Мердера (1795-1873). Став любовником его жены Наталии, урожденной Наталии Шарлотты Доротея Эберхард (1838-1897), Трофимовский в 1871 г. выехал с ней и тремя детьми генерала (Наталией, Николаем и Владимиром) за границу, оставив в России жену и троих сыновей. Через Турцию и Италию Наталия Мердер и Трофимовский прибыли в Швейцарию, где в конце 1871 г. у Наталии Мердер родился сын Августин. В бумагах ребенок был записан как «Августин Павлович Мердер»; по мнению биографов, отцом его являлся Трофимовский.

Изабелла Вильгельмина Мария Эберхард родилась в Женеве 17 февраля 1877 г. и была зарегистрирована как незаконнорожденная дочь неизвестного отца. Формально она отказывалась признавать Трофимовского своим отцом (хотя, вероятно, по крайней мере подсознательно это сознавала). Трофимовского она называла своим «двоюродным дедом», утверждала, что ее отец был «русским мусульманином», а в одном из писем заявила даже, что появилась на свет после того, как Наталия Мердер была изнасилована семейным врачом. Едва ли выдерживают критику утверждения иных французских биографов, согласно которым отцом Изабеллы был поэт Артур Рембо.

Еще один биографический миф касается той степной и скифической «крови кочевников», о которой любила упоминать Изабелла Эберхард; первые биографы также часто подчеркивали ее «русскость» и «славянскость». Если это верно, то лишь в бюрократическом и известном духовном смысле. Большую часть жизни Изабелла прожила российской подданной, однако Наталия Мердер была немкой; по некоторым сведениям, в ее жилах текла и еврейская кровь, как в жилах Трофимовского — армянская. В остальном каждый свободен считать духовный опыт Изабеллы Эберхард специфически «русским» или универсальным.

Скромная иконография Эберхард и в особенности фотографии, приведенные на фронтисписе и с. 9 нашей книги, давно стали сос-

тавной частью ее биографического мифа. Они были сделаны в Женеве в 1895 г. алжирско-швейцарским фотографом Луи Давидом. «Арабский» костюм Изабеллы — чистейший маскарад: фотограф нарядил грезившую «Востоком» девушку в случайный набор арабских одеяний, хранившихся в его ателье. Сходство с подобными маскарадами французского «колониального» писателя и офицера флота П. Лоти (1850-1923), чьей горячей поклонницей была Изабелла, вполне очевидно.

Ни Августин, с которым Изабелла была очень близка, ни Николай не были героями французского Иностранного легиона. Николай Мердер, ненавидевший Трофимовского, в 1885 г. записался на курсы ботаники при Женевском университете, позднее бросил учебу, поступил в Иностраный легион, дезертировал и вернулся в Россию, где сделал карьеру в министерстве иностранных дел.

Августин (1871-1914) в беспутные молодые годы не раз убегал из дома, пристрастился к наркотикам и алкоголю, путался в любовных увлечениях и был завсегдатаем публичных домов. Пребывание его в Легионе в середине 1890-х гг. было крайне недолгим, так как в связи с участием в некоем уголовном эпизоде Августин был с позором уволен с военной службы.

Точные обстоятельства гибели Изабеллы Эберхард остаются неизвестны. Второго октября 1904 г. изможденная и слабая, страдавшая приступами лихорадки (и, не исключено, больная сифилисом) Изабелла была помещена в военный госпиталь городка Айн-Сефра. С 1900 г. городок служил базой военных операций французской армии в юго-западном Алжире; гарнизон состоял из сотен солдат и десятков офицеров, имелись магазин, кантины, конюшни и пр. Эберхард успела снять двухэтажный домик в «туземной» части города и 16 октября написала Слиману Энни, что хотела бы встретиться с ним после выписки из больницы.

По словам немецкого легионера Ричарда Кона, накануне рокового дня 21 октября Эберхард жаловалась на госпиталь и затянувшееся лечение; утром 21 октября, между восьмью и девятью часами, она самостоятельно вышла из больницы. На улице Эберхард встретила знакомого французского лейтенанта по фамилии Парис и сказала ему, что Слиман Энни только что приехал и что она направляется к себе домой. Наводнение началось примерно через два часа.

Биографы не выдумали «героическую» версию смерти Изабеллы и сказанные ею мужу слова: «Я умею плавать, не бойся, я поддержу тебя». Так, со слов Энни, описывала события газета *Dépêche Algérienne* в номере от 30 октября 1904 г. Однако француз-



*Последняя фотография Изабеллы Эберхард, сделанная  
в госпитале Айн-Сефры за несколько дней до смерти*

ским офицерам Слиман изложил иную версию:

«Мы были на балконе моей комнаты. Внезапно послышался грохот, как будто мимо проезжали телеги. Шум нарастал. Внизу бежали люди, крича: “Вади! Вади!” Я ничего не понимал. Погода была спокойная. Не было ни дождя, ни бури. Минуту спустя по руслу реки понесся поток воды — высокий, как стена, и быстрый, как скачущий галопом конь. Вода поднялась не менее чем на два метра, волоча за собой деревья, мебель, трупы животных и людей. Я осознал опасность и мы попытались бежать. Поток настиг нас. Как я выбрался? Не знаю. Мою жену унесло течением».

На основании этого рассказа солдаты под командованием одного из офицеров начали искать Эберхард в русле реки. Ничего не обнаружив, они вернулись к развалинам дома, с трудом высадили забаррикадированную камнями и грязью дверь и в нише под лестницей увидели тело Изабеллы «в одежде арабского кавалериста» и с поднятыми в защитном жесте руками.

Изабеллу Эберхард похоронили по мусульманскому обряду на близлежащем кладбище Сиди-бу-Джемаа. Слиман, очевидно,



«Катастрофа в Айн-Сефре» в изображении журнала  
«Le Petit Journal illustré» (6 ноября 1904 г.)



9

Ain-Séfra - à la recherche des victimes de la catastrophe

J. Geiser - Alger



15

Inondation d'Ain-Séfra, recherches dans les décombres

J. Geiser Alger.



TRANSFERT DU CORPS D'ISABELLE PRÈS DE SA MAISON ÉCROULÉE (Photo Geiser)

Последствия наводнения в Айн-Сефре на photographиях Ж. Гейзера (Алжир). Нижняя фотография, согласно подписи, изображает «перенесение тела Изабеллы из развалин ее дома».

покинул Айн-Сефру сразу после наводнения и на похоронах не присутствовал.

Смерть была частой гостьей в сочинениях Эберхард; писала она и о мученичестве, считая смерть как *сознательный* акт прославления веры «восхитительной». Тем не менее, «в ее смерти не было ничего от религиозного мученичества: бедствие являлось природным или божественным, а не вызванным руками человека, — пишет биограф Изабеллы А. Кобак. — Она не погибла во имя какой-либо цели. Но не была ли это, в то же время, сознательная смерть: возможно ли, что в какую-то долю секунды, взвесив всю сопутствовавшую ей в жизни горечь, все несчастья, она решила, что с нее довольно и что судьба даровала ей простой способ уйти?»

История семьи Изабеллы Эберхард сопряжена с самоубийствами. В 1898 г. покончил с собой ее сводный брат Владимир, засунув голову в газовую плиту. В 1914 г. свел счеты с жизнью Августин; сорок лет спустя так же умерла его дочь Элен. Сама Изабелла несколько раз покушалась на самоубийство. По одной из версий, она помогла уйти из жизни смертельно больному раком Трофимовскому.

«Много лет спустя, Лиотей и Рене-Луи Дойон, опубликовавший в 1923 г. дневники Изабеллы<sup>1</sup>, обсуждали случившееся, — продолжает Кобак. — Дойон считал, что Изабелла со Слиманом, вероятно, курили *киф* (и, видимо, занимались любовью) и что она находилась в смятенном состоянии. Мнение Лиотея было иным: он заметил, что в глазах “такой нигилистки, как Изабелла” наводнение предстало захватывающей картиной разрушения, и был склонен думать, что она “воспользовалась этим событием, чтобы совершить своего рода самоубийство”. Судя по написанному ею в Кенадсе, она была готова к смерти и оборвала многое из того, что привязывало ее к жизни, включая Слимана — «последний якорь», как она говорила. Они не встречались на протяжении нескольких месяцев и он, как видно, нашел новую любовь. Возможно, последние два часа, которые они провели вместе перед наводнением, стали не счастливым воссоединением, а болезненным подведе-

---

<sup>1</sup> Речь идет о хорошо знавшем И. Эберхард французском военачальнике, маршале Ю. Лиотее (1854-1934), который в 1904 г. он находился в Айн-Сефре как бригадный генерал и командующий районом Орана, и литераторе и журналисте Р.-Л. Дойоне (1885-1966). См. Kobak A. Isabelle: The Life of Isabelle Eberhardt. New York, 1989. С. 236-237.

нием итогов. Почему Слиман спасся, а Изабелла погибла? Даже учитывая весь шок и ужас наводнения, версия событий, изложенная Слиманом, выглядит туманной и уклончивой — без сомнения, потому, что он пытался скрыть свою неспособность позаботиться об Изабелле. Если бы он беспокоился о ней, он знал бы, по крайней мере, что с ней произошло. Он сознавал, что лжет, когда говорил, что они пытались бежать и что Изабеллу унесло течением; но в эту минуту он не думал, что ее тело найдут прямо в разрушенном доме, за закрытой дверью. Как только тело обнаружили, его увиливания начали казаться трусливыми и подозрительными. Возможно, по этой причине он не присутствовал на похоронах Изабеллы и так быстро уехал. Все указывает, что на этой стадии его чувства в отношении Изабеллы были неоднозначными, и все указывает на ее внутреннюю готовность к смерти. Похоже, в чем-то оба воспользовались природным бедствием: Изабелла, в ту самую долю секунды, избрала смерть, а Слиман позволил ей это сделать».

#### Тень ислама

Публикуется по изд.: Эбергардт И. Тень ислама: В двух частях с портр. автора. Пер. с франц. А. Е. В<андама>. СПб., тип. А. С. Суворина, 1911.

#### Музыка слов

Публикуется по изд.: Воля России (Прага). 1925. № 7/8. В оригинале подборка переводов была озаглавлена «В горячей тени ислама».

#### В. Лебедев. Изабелла Эбергарт

Публикуется по изд.: Воля России (Прага). 1925. № 7/8.

В. И. Лебедев (1885-1956) — литератор, политический и военный деятель. Выпускник Тифлисского пехотного училища. Участник Русско-японской войны. Как эсер-боевик, с 1908 г. жил в эмиграции, участвовал в Первой мировой войне как доброволец во франц. армии (Иностранный легион), где дослужился до лейтенанта. После Февральской революции вернулся в Россию, был помощ-



ником А. Ф. Керенского, управляющим морским министерством. Во время Гражданской войны участвовал в боях против Красной армии. С 1919 г. жил в эмиграции (Франция, Чехия, Болгария, Югославия, с 1936 г. США). Принимал участие в работе многочисл. общественных организаций и периодических изданий, публиковался в европейской периодике. В журн. «Воля России» состоял членом редколлегии. В США редактировал газету «Рассвет» (Чикаго), был сотрудником редакции газ. «Новое русское слово», председателем Общества приехавших из Европы. Умер в Нью-Йорке.

---

Тексты публикуются в новой орфографии; пунктуация приближена к современным нормам. Имена и географические названия оставлены без изменений. Также сохранено устаревшее написание фамилии автора («Эбергардт» в издании 1911 г. и «Эбергард» у В. Лебедева).

## POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.